

ANDANTE MAESTOSO

Мелороман*

1.

Я обречен на то, чтобы жизнь моя не состоялась.

Возможно, это следовало бы обозначить так: я просто обречен. Но мне не поверят, если я объявлю нечто подобное; я знаю, что не поверят. Скажут, чего ему, собственно, недостает? У него все есть: деньги, немалая известность. Однако же перечисленное стоило бы, пожалуй, рассмотреть подробнее. Да, известность была, правда, не слишком широкая. Кстати же, в последнее время становится все глуше и сомнительнее.

Деньги? Разве они чего-нибудь стоят? Особенно сейчас. Особенно наши деньги. Вот что я действительно хорошо умею, так это изводить себя. Не пытайтесь со мною в том состязаться.

Ну-ну, не стоит из меня вообще делать каторжанина успеха! В целом это ошибка. В общем, это не перспективно.

2.

Возможно, я просто перестал полагаться на инструменты. Эти чертовы скрипки! Мне надо, чтобы они здесь только жужжали, потрескивали, тихо, тревожно, в самом высоком регистре. Даже, наверное, следовало бы задействовать древки смычков. Чтобы сделать скрипки еще беззащитнее. Еще выморочнее. Всего несколько мгновений, и большего я от них ничего не потребую. А они свистят. Ну, хорошо: посвистывают! Мне не хватает их теплоты! Черт побери, я в отчаянии! Мне не нужна их пронзительность, мне нужно, чтобы я сам смог восхититься. И еще... мурашки... мне нужны мурашки, на висках и на шее. И на душе, разумеется. Я даже думал заменить их на альты, но только перестроить струны. Но это невозможно: альты слишком степенны, сумрачны и глубоки. И тогда бы — проклятие! — ушла легкость, а без нее мне верная гибель.

Я всегда любил подготовленные инструменты, искаженные тембры, незаурядные звучности. Я всегда умел погрузиться в вычурность, оставаясь при этом в незамутненности. Урок спокойствия. На правах интродукции.

Станислав Иванович Шуляк — прозаик, драматург. Автор девяти романов, в том числе «Кастрация» и «Лука» («Амфора», 2003). Призер фестиваля короткой драмы «One Night Stand» (Москва, 1–2 апреля 2005 года). Публикации в «Литературной газете», «Ex libris НГ», в газете «Петербург экспресс», журнале «Нева».

* Журнальный вариант.

Никаких деревянных! Их здесь в эти мгновения не должно быть и духа! Такты с одиннадцатого по семнадцатый. Я знаю, я это слышу. Может, только тихо-тихо — тремоло литавр, только чтобы скрипкам не было одиноко, и то совсем недолго. Деревянные потом набросятся, будто звери из засады, набросятся, поддержанные всею тяжестью меди. И тогда они будут неистовствовать одним разом, тогда каждый будет вопить о своем (но меня рядом с ними не будет, я уйду в свои грезы, я стану дышать тяжело, и сердце... сердце...), впрочем, не хочу забегать вперед. Все же настанет миг, когда оно (сердце) вдруг делается счастливым, знаю я. Синдром счастливого сердца, иногда говорю себе я.

Вчера я тоже пытался объяснить, выговориться, но у меня ничего не получилось. Не было слушателей? Нет, плевать на слушателей, мне они не нужны. Пожалуй, не было боли. Вернее, боль была, но она оказалась недостаточной. А ведь боль должна быть достаточной, не правда ли? Спросят, для чего достаточной, делают вид, будто не понимают. А вот для того и достаточной. Чтобы только жизнь или смерть... ну, то есть чтобы это было все равно. Если же и теперь неясно, так тем более наплевать. Человек понимающий, человек непонимающий... собирайте же усердно гроздь моих плевков, сарказмов и пренебрежений. Моих безрассудств и невыносимостей.

Тему я нашел легко, она сама зазвучала где-то вблизи моего мозжечка, временами уходя в дебри моего исхудалого мозга. И вот там-то, в этих дебрях, и происходит все самое важное. Заказчик мой будет доволен.

3.

В третьем часу пополудни пришли из уголовного розыска. Вернее — «пришел»: он был один. Поначалу я не хотел открывать, думал притвориться отсутствующим (или несуществующим). Но разве это лучше? Они еще когда-нибудь сломают дверь и устроят засаду прямо в квартире, и я, попавшись на крючок неожиданности, могу выболтать что-то важное, чего бы не выболтал никогда в ином состоянии. Мания вольноотпущенности. Околоземные бдения.

Пришедшему было лет тридцать, но выглядел он мальчишкой, насупленным и своевольным. Не верилось ни в какие его задние мысли, но могло ли у него не быть задних мыслей?

Он ходил по квартире, разглядывал мои дипломы на стенах. Первое знакомство с непроницаемостью. Будто бы по-маральи. Триумф человека в задних мыслях и неосознанных обстоятельствах. *Ничтожествующие и никтожествующие*. Пауза.

— Вы — музыкант? — спросил наконец. Во взгляде его было что-то кирзовое или кунжутовое.

— Вроде того, — пожал я плечами.

— На рояле играете? — сказал еще, махнув рукой в сторону моего кабинетного «Стейнвея».

— Сейчас реже. Бывает, кое-что пописываю иногда, — сказал я. Но нет же: небрежностью своею не был удовлетворен. Над нею я и сам бы теперь посмеялся.

— Музыку пописываете?

— Что ж еще? — недовольно сказал я.

— Композитор?

— Считайте, что так.

- Выгодно это? То есть я имею в виду, можно ведь вот так писать себе... для души...
- Да вы присядьте лучше, — возразил я. — И давайте уж ваши натуральные вопросы или что у вас там!
- Вопросы... — замялся тот. Деланно замялся, руку даю на отсечение. Теперь уж я видел в нем прохожу и опытного загонщика, в таком же случае можно не пожалеть и руки. Или даже самого глаза. — Скорее просто беседа.
- Начинайте уже! — крикнул я.
- Давно здесь живете?
- Лет триста. Как ветхозаветный персонаж.
- Знаете Гольдфарбов?
- Гольдфарбов? Скорее нет, чем да.
- Совсем не знаете?
- Я этого не говорил.
- Я понял, — согласился тот.
- Что дальше?
- Что вы можете про них рассказать?
- Что вас интересует?
- Есть ли у них враги?
- С чего бы, собственно, быть врагам у Гольдфарбов?
- Это не ответ.
- Я не знаю, что ответить.
- Тогда скажите, бывают ли в вашем доме, на вашей лестнице посторонние люди?
- Вы, например.
- Я не в счет. Я не по своей воле.
- Мотивация на лбу не написана.
- Но когда вы встречаете в вашем доме незнакомого человека, вас интересует, кто он, как здесь очутился, не правда ли?
- Все же отвечу вам «нет».
- Это в наше-то время?
- Это время вообще наше! Я другого не знаю!
- То есть посторонних в вашем доме вы не замечаете?
- Послушайте! — взъелся я. — Все — посторонние! Понимаете? Начните с себя, если хотите увидеть постороннего.
- Гольдфарб ведь тоже композитор?
- Кто вам мог это сказать?
- Вы упорно не хотите отвечать на вопросы.
- А вы упорно задаете вопросы, на которые я не могу ответить хоть сколько-нибудь внятно.
- Вы знаете дочь Гольдфарбов?
- У них есть дочь? Впрочем, кажется, да. Совсем ребенок. Лет восьми.
- Десяти.
- Может быть. Почему вы спрашиваете?
- Она убита.
- Когда?
- Пропала неделю назад. Найдена только вчера.

Впервые я внимательно посмотрел на молодого инспектора. Может, я хотел смягчиться. Или сделаться еще непроницаемее, такое тоже возможно. Я уж открывал рот, чтобы высказать что-то примирительное. Стеариновая неуверенность. Что я мог сказать примирительного? Впрочем, я ведь плечами и щиколотками принадлежу к словию кликуш и прозорливцев, мгновенно думаю я. Оказывается, дочери Гольдфар-

бов столько же лет, сколько Соне, а я и не знал. Гольдфарб старше меня годами двенадцатью. Может, даже двадцатью.

Внезапно телефонный звонок!

— Как это произошло? — сказал я, не двинувшись с места.

— Звонят.

— Я не глухой.

— Не хотите послушать?

— А это имеет отношение к нашему разговору?

— Если я мешаю, могу выйти в другую комнату.

— Лучше останьтесь. Людей вашей профессии стоит держать в поле зрения.

— Снимите трубку.

— Это вас не касается.

— Да, разумеется. Это — ваша личная жизнь.

— Уж конечно, не общественная.

Звонок, двенадцать долгих звонков. Терпеливо сидит и смотрит на меня, я же отвожу глаза и весь будто на раскаленной сковородке. Каждая минута существования моего — новая раскаленная сковородка. Каждую же минуту существования своего человек подстерегаем чудом, которого вовсе не жаждет, которого трепещет и избегает. Как же их совместить — чудо и сковородку? Ответа не существует. Страшный суд... да, он всегда сегодня, всегда с тобой. В твоей аорте, в твоей диафрагме, в твоих предсердиях, в твоей поджелудочной железе. Вострубят трубы, зальются слезами флейты, слезами девичьими, легкими, сиюминутными, заворчат фаготы, будто псы в непогоду... гобои... они будут саркастичны и станут задавать тон всем прочим своею тихой, едва заметною одушевленностью.

— Итак... — сказал пришелец. Но я не потерял нити. Пристальность самоощущений. *Vlatus vocis.*

— Вы хотели рассказать, как была убита девочка.

— Острый тонкий предмет. Заточка или сапожное шило. У вас, кстати, нет таких предметов?

— Я похож на сапожника?

— На сапожника нет. Мы многих уже опросили, результаты, честно сказать, не блестящие, и сейчас любая мелочь может оказаться важной.

— Я с уважением отношусь к вашей работе, — сказал я.

Инспектор стал вставать разочарованный. Я потянулся его выпроваживать. Мы шли по коридору, и я смотрел в его спину, всего несколько мгновений. Следует ощущать себя опечаткой, опечаткой в тексте, одной из миллионов других опечаток. Мир — территория опечаток и недостоверного письма, сказал себе я.

— В спину? — вдруг спросил я, когда пришелец задержался в дверях.

— Что? — вздрогнул тот.

— Ее ударили в спину?

— Откуда вы знаете?

— Я не знаю — просто спрашиваю. Два варианта: или ударили в грудь, или в спину. Если в спину, должна быть кровь на губах и во рту.

— Кровь на губах была. Она давно засохла, прошло ведь шесть дней, пока девочку нашли. Да и нашли-то по запаху. На чердаке возле трубы с горячей водой. Представляете, что сделалось с телом?

— Вы хотите, чтобы мне всю ночь снились кошмары? — крикнул я.

— Такой цели у меня нет, — сказал он.

После инспектор ушел.

4.

Впрочем, может, и не ушел, но остался за дверью. Чтобы слушать шорохи из квартиры, чтобы угадывать мои мысли или желания. О, это не простой инспектор! Возможно, весь ум его настроен на чрезмерную тонкость и толчею парадоксов. А вообще Гольдфарб весьма удобен, чтобы им заговаривать мне зубы, а цель прихода, вероятно, была совершенно иной. Хотя кому может быть нужен обыватель, вроде меня, пускай даже высокопоставленный обыватель. Заносчивый простолюдин. Да-да, последнее мне ближе, последнее мне симпатичнее.

Тем лучше, что ушел. Или что затаился. Зато можно было подумать над формой. Над сопряжениями, стяжками, контрфорсами и противовесами. Шесть четвертых. *Andante maestoso*. Одна из тем, мерно-поступательная, торжественно-горделивая, была известна мне давно, я даже не помнил, когда она мне явилась. Еще две темы — строгие, печальные, нисходящие, построенные на пунктированных ритмах и внутритактовых синкопах — пришли в одну из минут бессонницы и преследовали меня, пока я их не записал в виде легких воробьиных набросков. Я перебирал их, эти темы, будто четки, в разных тональностях; мне мерещились *sforzando* валторн, тихий пульс гобоев в нижнем регистре, немного, по обыкновению, картавящих, порхающие трубы со звукоизвлечением «двойным язычком», но вдруг сбивающиеся на ферматы, шепот альтовых флажолетов, пиццикато виолончелей и черт знает что, помимо всего перечисленного. И еще — главное! — мне нужно было добиться асимметрии, не просто асимметрии, но некой изошренной, выморочной асимметрии. И тут-то я терялся, будто младенец, выпустивший руку матери. Я начинал путаться в своих черновиках. Ничего нет страшнее путаницы в черновиках, это даже страшнее сумасшествия.

Но временами я задыхался от красоты придуманного.

5.

Утром приходила моя рабыня. Ольга — бывшая ученица, она сама называет себя моею рабыней. Я лишь повторяю за нею. Наверное, нет такой услуги, которой бы она не согласилась оказать мне. Иногда меня это даже пугает.

Она хотела убирать в комнатах: подметать пол, стирать пыль с подоконников, но я прежде усадил ее за рояль. Она долго смотрела партитуру, будто вслушивалась. Потом уверенно заиграла, иногда арпеджируя аккорды, когда вертикали оказывались слишком уж насыщенными. Ольга партитуры читает отлично.

Нравилась ли ей музыка? Я старался угадать и не мог. Пристрастия ее бывают весьма парадоксальными, иногда она даже позволяла себе спорить со мной и после спора оставаться при своем мнении. Впрочем, ничего сверх того Ольге в рабском ее положении я не позволял.

Она скоро закончила играть, материала там было минуты на две — наброски.

— Так? — спросила она.

— Как тебе?

— Что это будет? — спросила Ольга.

— Новый заказ. Очень важный и странный.

— Давно работаешь над ним?

— Третий день.

— Чей заказ?

- Откуда-то с самого верха.
- От Бога?
- Ступенькой пониже. Максимум — двумя.

Ольга задумалась.

— Главная тема, — сказала она, — строгая и спокойная. В ней ты пытаешься сказать о многом. Возможно, это не получается, и ты мучаешься. Ты хочешь повторить ее, но уже иначе, с более пронзительной артикуляцией. Но снова не удовлетворен. В главной — много печали. Слишком много печали.

- Но красива ли эта печаль?
- Всякая печаль красива.
- Это я понимаю.
- Странная штука...
- Ты о чем?
- Главная тема... будто хорал...
- Это хорал, — подтвердил я.
- Ты уже знаешь побочную?
- Их несколько. Шесть. Целая связка тем.
- Сыграешь?

6.

Я сел за рояль. Загремели гневные квинтольные арпеджио левой руки, с хроматизмами, иногда они перебивались стремительными нисходящими пассажами тридцать вторыми (те были как молнии, бьющие в землю!), и тут же зазвучали нонаккорды правой руки, которые вели свою мелодию в спотыкающемся на синкопах пунктированном ритме. Две-три фразы в среднем, виолончельном регистре — и тут же мгновенный отклик в верхах, почти фальцетом, со зловещей издевкой, с отчаянными диссонансами, с бешеной пародией на танцевальность, на вальсовость. Что-то уродливое и беспредельное зазмеилось в звуках из-под моих пальцев, чьи-то безобразные лица мелькнули, шишковатые обритые головы, приплюснутые зловещие затылки, чьи-то искаженные тела. Лодыжки, ключицы, тазобедренные суставы. Костистое и нестерпимое. А левая рука все бесновалась, все неистовствовала. Вот и правая подхватила набатные интонации, они прибывали постепенно, они нарастали безудержно. В партитуре ничего этого пока не было, я играл по памяти, импровизируя.

На улице вдруг тоже послышались звуки, что-то громыкнуло, раскатисто, протяжно; впрочем, теперь это не редкость. Но разве улица может прорваться в мою музыку? Разве я ее туда допущу? У меня с улицей во все дни жизни моей, во все мгновения бесчинствующего таланта моего — тайное противоборство.

Я оборвал игру. Испарина была у меня на лбу и на висках. (Я иногда любил, сидя за инструментом, наиграться до испарины.)

- Страшно, — сказала Ольга.
- Правда? — спросил я.
- Это симфония? — спросила она.
- Да. Будет еще хор и орган.
- Я такого у тебя еще не слышала.
- Такого и не было. Ты запомнила?
- Запомнила.
- Напомни мне, если я что-то забуду.
- Постараюсь, — сказала Ольга. Она немного подумала. — И еще эти люди...

— Какие люди?

— Вернее, одни лица. Жуткие, невыносимые!

— Лица?

— Как в «Капричос» Гойи.

— Ты видела их?

— Да. Это даже не люди. Уроды, калеки, бесноватые. Может, беженцы или изгнанники. Они способны на все: предать, напугать, разорвать на куски, для них все остальные будто из бумаги...

— Странно, — сказал я. — Я тоже думал о них.

— Как у тебя холодно! — она передернула плечами. — Надо завтра же заклеить окна.

— Не топят. Второй день. С тех пор как... — что-то такое вспомнил, но не договорил.

Впрочем, было ли что вспоминать? Быть может, то, что я хотел вспомнить, приключилось позднее.

7.

Три двадцать пять пополудни. Часы мои точны, нестерпимо точны, издевательски точны. Я держал в руках партитуру, разглядывал свои стремительные каракули — нотные значки, акколады, лиги, знаки альтерации, стрелки, помарки, зачеркивания. И вдруг стал рвать листы, педантично, неторопливо, в мелкие клочки.

Клочков набралась изрядная горсть, я разбрасывал их по полу. Конец цитаты! Не надо мне этого заказа, я не способен его выполнить, я бессилен, я ничтожен и мелок, и знаю это. Пусть они обратятся к кому-то другому, более крупному и талантливому, а аванс я верну.

Если Ольга появится вечером, она все сметет с пола. Но появится ли она? Кто это — Ольга? Ах да, это рабыня. *Al segno*.

8.

Начинаем заново!

Я обречен на то, чтобы жизнь моя состоялась не такую, какую я себе ее воображал. Вся сила рук моих и все достояние моего изошренного мозга — для меня во все не поддержка. Много во мне толпится всякого, в том числе гуманного, благообразного и рассудительного. Но правда ли это? Не сочиняю ли я смысл свой подобно, положим, иному скерцо в дурашливом или скептическом миноре? Тем, подслушанных мной у воздуха, у воды, у сумерек, хватит на сто симфоний (нет — на восемьдесят пять!), лишь бы удалось, как в иные годы, снова приникнуть к дару отчетливости. Я упрям и импульсивен, никакими благами существования невозможно привязать меня к рациональному.

Звонок. Этот мир опять решил дотянуться до меня при посредстве электромагнитной индукции, молекулярного резонанса или внутреннего сгорания.

Медлю, но после все же беру трубку полузастывшею десницей.

— Мирослав, ты знаешь, что о тебе говорят ужасные вещи? — слышу я голос.

Мгновение ничего не понимаю. Возможно ли вообще понять что-то умом, бьющимся в панике и своеобразии?

— Мне теперь следует спросить, что обо мне говорят, Лиза? — спрашиваю.

— Я не стану ничего тебе передавать, — возражает жена. Жена... Наконец произнесено слово, оно обрушилось на меня всей тяжестью бессодержательности. Всею массою неопределенности. — Пересказчики сыщутся.

— У меня много работы, я никуда не выхожу. Все ужасное о себе я узнаю последним.

— Говорят, тебя собираются исключить из Союза композиторов.

— Если бы это была правда, она бы меня обрадовала.

— Ты всегда старался противопоставить себя остальным.

— Ты стараешься выдумать обо мне что-то обидное, но обидное не выходит...

— Обидное о тебе не надо выдумывать. Правдивое о тебе — наиболее обидное.

— Лиза, зачем ты звонишь? У меня действительно много работы.

Лукавство, конечно, Но возможно, и нет, если договориться считать работой осознание всякого мгновения существования.

— Мне нужны деньги.

— Для чего и сколько?

— Немного. Я все посчитала. Семь с половиной тысяч евро. А для чего... тебя не касается. Предположим, они мне нужны на нашу дочь. К тому же я собираюсь уехать.

— Ты собираешься уехать?

— Мы собираемся уехать, — поправляется Лиза. — Ты так и не ответил — ты дашь деньги? Они нужны срочно.

— Сумма, что ты назвала, это все, что у меня теперь есть. Я получил аванс, но, наверное, откажусь от работы. Придется возвращать.

— Выкрутишься как-нибудь. Да и потом — что тебе вообще надо? Рояль да бумага. Поэтому давай встретимся прямо теперь. Как обычно — у «Нарвской».

— Ты не находишь, что несколько опасно мне идти через весь город?

— Других предложений все равно не поступило. Поэтому давай сделаем так.

— Чертова дрянь! — кричу я.

Что-то взметнулось, что-то ударило в четырех стенах моего черепа. Не настолько прочных, чтобы быть несокрушимыми. Конец разговора. Подозрения выше жены Цезаря. И ведь знает, что не смогу отказать. Сурьмяное горло. Гумус.

— Через два часа. Не опаздывай! — говорит Лиза.

9.

Хожу, как заключенный на прогулке, с карикатурною беспорядочностью, заложив руки за спину. Гостиная, коридор, комната, коридор, спальня, десять шагов назад — коридор, кухня. Виновный. Синкопа, акцентный шаг, гулкость. Пью воду из пластиковой бутылки из холодильника. Окно кухни выходит во двор; здесь было безопаснее, когда нас обстреливали. Я и жил тогда на кухне. В гостиной одно окно высажено осколком, я завесил его одеялом.

В этой вещи должна быть особенная линия, особенная черта. Здесь должны сойтись два мира, два народа, два лада, два образных строя. Я утвердился с побочными темами, я уже почти вышел на разработку и вдруг с размаху споткнулся. Так падают ниц, и я был готов пасть ниц. Я теперь любил внезапное преткновение. *Sopragavaganza*. Мир осоки и подорожника. Саркастическая симфония. Низкое словотворчество. Синева.

Отчего снова возвращаюсь к пройденному и отвергнутому? Что за вязкость мозга, что за холодная участь обихода!

10.

Задерживаюсь у двери кладовой. Здесь у меня инструмент (давно уж не приходилось рукоめслничать, но ничего не пропало). Стамески, щипчики, молоточки, дрель с набором сверл, мотки проволоки, здесь же сапожное шило. Беру его, пробоую острие пальцем. Отлично, не требует заточки!

В комнате отыскал гелевую ручку, из самых дешевых, из тех, что не жалко и выбросить, развинтил ее, примерил к шилу — отличные «ножны», особенно если закрепить скотчем; сам даже подивился придумке. Теперь можно держать его и в кармане.

Потом считаю деньги, те самые евро, что недавно получены в виде аванса. Для чего держать дома столько наличных? А где их, впрочем, держать?

Раскладываю деньги на две пачки, не слишком толстых, заворачиваю каждую в бумагу. Потом засовываю в прорези в подкладке куртки. Не слишком удобно будет доставать, но зато не найдут, если кто-то станет обыскивать на улице.

11.

Все высокое имеет оборотной стороною кликушество, по кликушеству же, напротив, можно судить о высоком. Мне следовало бы определить мотивы, сочетания звуков, соответствующие и высокому, и кликушескому. Заманчивому и недостоверному. Избегание тоники. Несколько клочков партитуры подобрал с пола и тоже сунул в карман. Впрочем, разбросанных осталось все равно много.

Уже одетый я стоял в прихожей и прислушивался, будто волк. За дверью площадка, а чуть далее лестница; любая лестница фантастична, и фантастическое в ней происходит из спирали, на которую она похожа. Но более меня интересовал инспектор. А что меня могло интересовать в инспекторе? Да и разве мог он там быть? Ведь я же изорвал партитуру в клочки, и время, вздрогнув, быть может, изменило свой ход. Возможно, и наши участи, с сожалениями, с неохотою, переменялись. Следовательно, можно не опасаться никакого инспектора. По-видимому, того никогда не существовало. Я беззвучно отомкнул замки, приоткрыл дверь и не человеком, но каким-то ловким членистоногим выскользнул из квартиры.

Запереть дверь бесшумно не удалось. На чужой территории так легко утратить долю обычной увертливости, и я утратил ее. Я хотел уж идти к лестнице, как вдруг услышал... Кто-то был наверху, этажом выше. Даже, наверное, не один. Там дыхание двоих. Я с моим слухом вряд ли мог обмануться. Идти вниз по своим делам? И никогда не узнать, кто там, наверху? Этот чертов инспектор поселил во мне зерно неуверенности, овсяное зерно неуверенности.

В походке моей, в непреклонности вдруг на мгновение мелькнуло что-то нестерпимое. Я сошел на три ступени вниз, но не выдержал и стремглав бросился в обратную сторону. Пробежал два марша, поворот, уступ стены, и вот они — двое, оба молодые, лет от двадцати трех до двадцати семи, должно быть; они попроще давешнего инспектора, успеваю заметить я; к тому же я вздрагиваю, и они тоже вздрагивают, все трое мы, стало быть, вздрагиваем. Они в рабочей одежде, у одного подле ног — чемоданчик, может быть, с инструментом. Машинально руку в карман сую, движение меня выдает, зато вот она — рукоятка моего инструмента. Если что — я не буду невооруженным, а далее уж посмотрим — как и кому улыбнется удача! Впрочем, скатываюсь, кажется, на пошлость, попадаю в ловушку обыденного словоговорения. Черт побери, я поднялся сюда единственно из эксцентричности!

— Кто? — вырывается у меня.

За спиной у парней, на площадке — две двери, здесь же квартира Гольдфарба.

— Не кто, а что! — ухмыляется один из парней. — На трупик захотелось взглянуть?

— Нервишки пощекотать? — поддакивает второй.

— Какой трупик?

— Тот самый!

— Многие теперь ходят.

— Целыми экскурсиями норовят.

— Кто вы такие?

— Водопроводчики мы, — снова ухмыляется первый.

— Трубы, краны, вентили — наша работа! — кивает головой товарищ.

— А трупика давно уже нет.

— Вынесли, как говорится.

— Был да сплыл.

— Один только запах остался.

— Чувствуете?

— Запах-то не скоро сойдет.

— Тут и мели, и мыли, и проветривали — а все никак!

— Трупный запах — самый въедливый.

— Самый неистребимый.

— Самый мерзостный.

— Послушайте! — крикнул я. — Мне нет дела до ваших труптиков, до ваших запахов.

— А что ж пришли-то тогда? — парировал первый из водопроводчиков.

— Уж не для того, чтобы что-то вынюхивать или рассматривать какие-то труптики, — теряюсь я.

— А для чего?

— Я услышал, что здесь кто-то есть, я живу этажом ниже, и мне не нравится, что в моем доме происходит что-то странное.

— А шли-то вы вообще куда? — спросил водопроводчик вовсе уж издевательски.

И стал нагибаться к своему чемоданчику с инструментом.

Я отступил.

— По своим делам, — буркнул я неприязненно.

— Ясно, что не по чужим.

— А вот, пожалуй, и по чужим.

— По своим, по чужим! Сам не знает, что говорит.

— Ну да, трупами не интересуется, а у самого сплошные загадки! — фыркнул второй.

— Чуден человек!

— Не то слово!

Они подступали ко мне, медленно и незаметно. Зачем они ко мне подступали? Им не следовало бы ко мне подступать. Я попятился. Я готов был выхватить свое оружие, но тогда нужно было бы бить и бить тотчас же, независимо от возможного исхода. Но для того, кажется, не было пока оснований, за вычетом, пожалуй, странности всей сцены. Но уж странность, разумеется, к делу не подошьешь. Мало ли вообще странностей! Мир сам — разве не странность? А «дело»-то очень даже могло бы здесь и образоваться.

Я отступил и чуть было не полетел по лестнице кубарем, но все-таки устоял.

— Вас не касается! — крикнул я.

— Конечно, не касается, — ухмыльнулся первый.

— Мы даже не интересуемся вовсе, — подтвердил другой.

- Мы вообще не любопытные!
 - Особенно я.
 - Нет, я менее любопытный.
 - Вечно ты споришь!
- Par nobile fratrum.

Отвернувшись от моих мучителей, с напряженной спиной, спускаюсь по лестнице. Неполноценные времена достались нам в обращение, скверные времена; скверность их от мира сего и от смысла сего. Я отираю плечом стену, я ожидаю, что те двое могут наброситься на меня, но они лишь похохатывают на верхней площадке и меня не преследуют. Нарративная агитация. Триумф неудовлетворенности. Головорез-голос.

12.

Мне нужно успокоиться, переключиться на что-то иное, и я вспоминаю... про вывернутые веки. Вы слышали что-нибудь про них? А сами вы умеете их выворачивать? А я вот умею. Кого я ни спрашивал — никто не умеет. Я лишь в одной книге встречал про выворачивание век; у Алексея Толстого, у «советского графа». Собственно, выворачиваются только верхние веки — зрелище не для слаонервных.

Быть может, лишь я один в мире умею делать это; умру я — и искусство выворачивания век сгинет в безвестности. Все почти просто: три пальца на веках закрытых глаз, выше и ниже орбито-пальпебральных борозд, веки немного оттягиваю, подпуская под них воздух, потом напротив — вдавливаю пальцами глазные яблоки, и вот здесь-то самое тонкое, самое неуловимое: нужно правильно напускать кожицу век на хрящ (*tarsus*) туда-сюда, и после отнимаешь пальцы от глаз, открываешь оные, и вот верхнее веко оказывается вывернутым. Ни боли, ни слез — вся процедура занимает не более пары секунд, впечатлений же для постороннего наблюдателя — тьма!

Четыре лестничных марша, пятьдесят шесть ступеней, одиннадцать вздохов иду с вывернутыми верхними веками. Иду походкою понурого триумфатора, скорбного соглядая, озабоченного вояжера. Ветер обдувает слизистые оболочки моих век, моргаю коротко, смаргиваю, и веки принимают обычное свое положение. Тру глаза кулаками; первый этаж, так, мгновение не видя ничего пред собой, собираюсь выходить.

— Мирослав, — вдруг слышу возле себя шепот, и я уже знаю, кто это, но все-таки вздрагиваю.

Ныне непозволительно быть таким неосторожным.

— Гольдфарб, — хотел было сказать я недовольно, но тот тянет меня за рукав умоляюще, и палец указательный подле его губ.

— Ш-ш... — шепчет еще.

Поневоле нисхожу на его тон. *Abbandono assai e pianissimo*.

— Что вы тут?..

— Эти там? — и рукою поводит вверх неопределенно.

— Кто?

— Двое...

— Водопроводчики? У вас на площадке.

— Какие они водопроводчики! — отмахивается.

— А кто же?

— Что ж вы, Неспалов, — удивляется мой собеседник, — с Луны свалились? Водопроводчики!

— Ах да, — спохватываюсь вдруг. — Леонид... слышал о том, что у вас случилось... только сегодня узнал. В общем, примите мои, так сказать... Черт! Никогда не умел этого говорить!

Гольдфарб как-то охнул, тихонько, болезненно, почти хрюкнул. Звук был столь странен, что я в удивлении взглянул на Гольдфарба. У него всегда бывает злой и запуганный взгляд, и даже когда Гольдфарб веселится, взгляд его делается еще более злым и запуганным. У него великолепные зубы. Действительно замечательные — все тридцать два! Они, правда, несколько лошадиные и выпуклые, но так ему даже лучше. Сейчас лицо его скривилось, я думал, что он заплачет, но он не заплакал.

— Вы уходите, Неспалов? Я вас провожу немного. Всего двадцать шагов.

— Хорошо, — сказал я.

Он взял меня под локоть, и мы вышли на Моховую. Было зябко, я передернул плечами от внезапного озноба. Гольдфарбу, должно быть, показалось, что я собираюсь высвободиться, и вместо того, чтобы отпустить меня, он лишь еще крепче вцепился в мой локоть.

Моховая — самая вегетативная из всех известных мне улиц. Она живет, питается за счет своих насельников, прирастает, отбрасывает отмирающие отрезки и участки. Ныне напряжение разлито по тротуарам и поребрикам; каким бы бодрым и уравновешенным ни шагал ты по этой улице, оно вскоре настигнет тебя. Оно охватит тебя от темени до щиколоток. Давно я живу здесь, но ни уверенность, ни привычка не поселяются в моем сердце. И наверное, уж никогда не поселятся.

13.

День-артефакт. Мы с Гольдфарбом шли медленно, шажочками в четверть ступни. Будто два старичка, боявшиеся поскользнуться. Я ждал от него какого-то слова, но прошла минута, пока он наконец разлепил губы.

— Сарацины весь город заполнили, — вздохнул он.

— Что? — вскинулся я. — Ах да! Но вообще... Неудачное слово.

— Куда уж неудачнее! — протянул Леонид. — Все... Просто ужасно... Мы девочку нашу пять дней искали, с ног сбились, все больницы и морги... а она рядом была. Мы на последнем этаже, а она на чердаке... Дворничиха наша, Зинаида Семеновна, благороднейшей души человек, почувствовала. Мыла лестницу, и вдруг показалось ей, что запах не тот. Поначалу внимания не обратила, мало ли что померещится. На другой день не мыла лестницу, только через два дня. Тут уж запах усилился. Она за ключом сходила, открыла дверь на чердак, а там такой запах, что хоть стой, хоть падай. Подруг вызвала — страшно одной! — и те, носы зажимая... но все равно одну вырвало, другая в обморок упала. Они пошли, а там Галечка наша лежит. То, что осталось от девочки нашей. Поздний ребенок! Запоздавший... Хорошая женщина — дворничиха! Замечательная! А какое обоняние! У вас хорошее обоняние, Неспалов?

— Не очень. У меня слух неплохой.

— Вот! И мы-то все дни ходили и тоже чувствовали что-то, ну, то есть запах, но никому и в голову не пришло. Вам бы могло прийти такое в голову, если бы ваша дочь пропала несколько дней назад, что ее надо искать на чердаке, прямо у вас над головой?

— Ну, уж это вы... — пробормотал я.

— Да-да, очень смелое с моей стороны допущение, — спохватился он. — Жена моя, Маргарита Владиславовна... уже когда Галечку нашли, говорила, что ей все

время казалось, что на чердаке кто-то ходит. А кто там мог ходить? Некому там ходить. Просто ум за разум мешался.

— Ко мне тоже инспектор приходил... — сам не знаю для чего, вдруг сказал я.

— Инспектор! — взвизгнул Гольдфарб. — И смех и грех — этот ваш инспектор! Он ко всем приходил. У нас он чуть не ночует. Он как-то попросился переночевать у нас, но мы отказали. Хоть с деликатностью, но все ж и с решительностью. Вы бы хотели ночевать в одном доме с инспектором? Нет? Вот и мы так же! Если хотите знать, — весь скрючившись и прижавшись к моему плечу, тихо проскрипел мой собеседник, — и никакой он вовсе не инспектор.

— Что? — удивленно остановился я.

— А вот то! — решительно отрезал Гольдфарб. — Вам-то самому он не показался странным?

— Возможно... — протянул я.

— А эти «водопроводчики»? Которые только торчат на лестнице и не ремонтируют никаких водопроводов!

— Да.

— Сейчас будут сваливать все на какого-то маньяка, а маньяка, быть может, никакого и не существует.

— Какого маньяка?

— Вы не знаете? Есть предположение, что все это — дело рук маньяка. Который орудует где-то совсем рядом. И чуть ли не в нашем доме обосновался. Это уже не первый случай. Как вам все это нравится?

— Что — не первый случай?

— Эти убийства. И всегда один почерк. Удар! Чем-то тонким — заточкой или сапожным шилом. Спереди или сзади — это по-разному. Но всегда так! — прямо в сердце! Очень твердая рука! Артистичный удар! Представляете? Артист! Паганини!

— Но вы же сами сказали, Гольдфарб, что его не существует.

— Кого не существует?

— Маньяка.

— Черт, конечно же, не существует.

— А что существует?

— Неспалов, вы настоящий ребенок! Разве вы не видите, что происходит вокруг?!

— Вижу. Хотя, признаться, многого не могу понять.

— Вот! — почти радостно воскликнул Гольдфарб. — Это же специально так делается, чтобы никто ничего не мог понять.

— Кем делается?

Гольдфарб вдруг отстранился, всплеснул руками, потом подбоченился и стал удивленно рассматривать меня, даже как будто хлопая глазами.

— Вы младенец! — завизжал он. — Неспалов, знаете ли вы, что вы — сущий младенец?

— Послушайте, Гольдфарб, — сухо сказал я. — Я понимаю, что у вас горе. Но не могли бы вы...

— Обиделся! Да, у меня горе, но я все равно не хочу, чтобы мне морочили голову разными липовыми водопроводчиками, разными комичными инспекторами. Ведь правда же, что инспектор комичен?

— Мне так не показалось.

— Уверяю вас, комичен! И фамилия у него такая развеселая — Шутко! Как будто сейчас кому-то до смеха! Он так много времени провел у нас и чуть даже не набивался в приятели! Один раз даже попросился переночевать. Впрочем, я об этом уже говорил. Сами подумайте, что у нас может быть общего — у меня и у Шутко! Фамилию-то он вам свою назвал? Как? Он не назвал вам своей фамилии?

— Гольдфарб, мне идти надо, — сказал я.

— Я вам, Мирослав, вот что скажу...

— Что скажете?

— То и скажу: звенья...

— Какие звенья?

— Одной цепи звенья. Инспектор и водопроводчики! Точно вам говорю! Ах нет, дальше я не пойду. Если не спешите, побудьте со мной, голубчик. С отцом безутешным побудьте минуточку.

— Как раз и спешу, Гольдфарб, — возразил я.

— Минуточка не решит ничего. Побудьте, голубчик!

— Хорошо. Слушаю вас.

— Слушаете... а я, Неспалов, спросить у вас хотел.

— Спрашивайте.

— Что вы сейчас пишете?

Секунду раздумываю. Линия губ. Зябкость. Изнеможение.

— Ничего, наверное. Зачем это вам?

— Ничего? Разве это возможно? Это вы-то, Неспалов?

— Да. Я — и ничего не пишу, — тут я замаялся немного. — Два часа назад еще писал, а теперь нет.

— Как же это?

— Да так вот... тоже слишком много странностей. Вы ведь любите странности, Гольдфарб? Вот и здесь тоже их немало. Что-то даже мистическое.

— Что же странного?

— Не могу сказать. Заказ был конфиденциальным, такое условие было даже прописано в контракте.

— Неспалов, дорогой, мне-то расскажите! Я буду нем, как могила, — умоляюще приложил руки к груди Гольдфарб. — Я и так уж в могиле одной ногой.

— Не могу! Да теперь это и не важно. После того, как я решил отказаться от работы.

— Ну, хоть кто к вам обратился?

— Этого я тем более не скажу.

Что-то вдруг произошло, что-то переменялось, что-то рассеялось... Или наоборот — сгустилось. Что-то нечистое, лукавое, нарочитое мелькнуло вдруг в атмосфере.

— Не скажете? — с хитрою усмешкою сказал Гольдфарб и вдруг — о боже! — подмигнул мне. — А если я сам угадаю?..

— Попробуйте, — пренебрежительно отмахнулся я.

— Думаете, не угадаю?

— Конечно, не угадаете.

— К вам обратился... та-ак... предположим, к вам обратился... Альфонс Янович Худбин. Сам, можно сказать, председатель культурной канцелярии...

Я отшатнулся от Леонида.

— Черт побери, Гольдфарб! — в удивлении воскликнул я. — Откуда вы?..

— Каково? — самодовольно потер руками мой собеседник.

— А все-таки? — настаивал я.

— Вот вам и «все-таки»! — помолчал. Полтакта — пауза. Доктрина бесчувствия. — Во-первых, Альфонс в городе уже вторую неделю, — сжалился наконец Гольдфарб. — Да он сего и не скрывает. Обедает в ресторанах, общается с друзьями, с полудрузьями, а порой и со всякой швалью. Это в нынешнее-то время! Представляете? Что, скажете, сейчас мало швали? Нет уж, швали сейчас предостаточно.

— А во-вторых? — нетерпеливо спрашивал я.

— Во-вторых, он с тем же самым предложением обращался и ко мне. Заказ, разумеется, весьма престижен. Признаю!

— Он предложил вам?! — вскричал я.

— Предложил.

— И что же вы, Гольдфарб?

— Я... — пожал он плечами. — Я был подавлен, я был растерян... В силу известных обстоятельств... Словом, я... согласился.

— Что же это такое?! — с чрезвычайной досадой вскричал я.

— Вот и я тоже спрашиваю себя: «Что же это такое?» — пожал плечами Гольдфарб. — А что еще я, скажите на милость, могу спросить?

— И вы подписали контракт?

— Подписал ли я контракт? М-м-м... разумеется. С радостью, но и с трепетом душевным, могу вам теперь в этом сознаться.

— Вот и прекрасно! Я принял решение больше ничего не писать. Поэтому я вам не конкурент.

— Да нет, Неспалов. Не конкурент как раз вам я. Я, конечно, знаю себе цену, но я так же знаю и свое место, откровенно это вам говорю. Да и как я могу сейчас что-нибудь писать?! В этак-то состоянии! Вы вот сами взгляните на меня...

— Нет-нет, решение мое окончательное. И я сообщу его Альфонсу при первой же возможности.

— А вы думаете, он этого не знает?

— Что? — вздрогнул я.

— Так! Ничего особенного, — смутился вдруг Гольдфарб. — Пойду, пожалуй. Так, говорите, на лестнице водопроводчики?

— Да. Там стояли.

— Интересно, на черной лестнице тоже стоят?

— Понятия не имею.

— Конечно-конечно! Вот если бы кто-то... Но вы-то ведь торопитесь, Неспалов? — забормотал Леонид.

— Прощайте, Гольдфарб.

— Всего наилучшего вам, дружочек, — скривился тот. Потом боком стал отходить от меня. Он долго шел так; казалось, он все не решался совсем отвернуться от меня, и, лишь проделав шагов тридцать, наконец, скрючился, передернул плечами, и, показав спину, зашагал быстрее нелепою крабьей поступью.

14.

Я медленно пошел своею дорогой. Баба с мешком обогнала меня, я равнодушно поглядел вслед бабе. Что за игру такую затеял Худбин? Почему не уехал сразу, хотя на нашей встрече все показывал, что торопится, что чуть ли не опаздывает на поезд? Значит, все было балаганом, притворством? В нем вообще много балаганного, клоунского, а между тем человек сей серьезен, никак нельзя отрицать в нем серьезно, взвешенного, стратегического.

Что ж, тем лучше! Стало быть, и я с совершенно спокойною совестью могу объявить Альфонсу о своем отказе. Думаю, он даже не удивится. Раз он ведет себя так, значит, не столь уж заинтересован во мне. Сейчас вот я только встречаюсь с Лизой, а дальше можно будет постараться найти Худбина. Деньги! Если я отдам все сейчас Лизе, то откуда мне взять деньги, чтобы расплатиться с Альфонсом? Черт побери! Другого здесь не скажешь: черт побери!

Я хотел теперь поскорее этой встречи. Лиза смыслена и злоязычна; быть может, она в состоянии разъяснить иные из моих недоумений. Хотя встреча наверняка будет непростой, гневной и безжалостной, у нас с нею не бывает простых встреч. Я шел одною из своих наиболее эгоцентрических и неудобоваримых походов. А именно: бессолнечной и безвозвратной. Двадцать один шаг, и все оные — в трезвости и в беспокойстве. Внезапно — остановка. Ветрено и неуютно. Пульс и причудливость. Человек мирового значения. Yesterday is here.

Откуда-то слева слышатся выстрелы, канонада. Далеко, должно быть, где-то за вокзалом. Направо — сарацинский пост, подхожу хлопчатобумажною поступью; здесь меня и останавливают. Мальчишки, которым под тридцать, они все — барбудосы; ныне тридцатилетние у нас управляют духом и миром, обстоятельствами и недоговоренностями; откуда-то приволокли они газетный киоск, в нем и согреваются, временами же пристают к бедным прохожим, вроде меня, смотрят документы, обчищают карманы и делают другие мелкие насилия. Впрочем, могут и пристрелить. Такие посты теперь на каждом шагу. Это и есть местная власть в эпоху безвластия, ничего не напишешь.

Трудно нынче ходить по городу. Многие, я знаю, возносят молитвы о безопасном походе, когда им нужно пройти хоть пару кварталов, я же — я — кривоточный комедиант, много во мне членистоногого и беспричинного, — я никогда не молюсь, мне молиться некому. Засурдиненное горло. Ситцевая битва. Отповедь.

Я хотел сразу достать документ, но юный бородач, пригрозив мне автоматом с коротким стволом, сам полез в мой карман. Двое других стояли поодаль и ухмылялись. Их никогда не следует раздражать. Хорошо прожил тот, кто спрятался лучше Декарта. Проверяющий вынул у меня из-за пазухи паспорт и телефон, паспорт стал смотреть, морща лоб и шевеля губами, телефон же пренебрежительно бросил на асфальт.

— Торопишься, что ли? — спросил только. Он, должно быть, был среди них десятиначальником.

— Не тороплюсь.

— Правильно. Куда тебе торопиться?

— А впрочем, пожалуй, и тороплюсь.

— Слышали? — обернулся к товарищам своим молодой сарацин. — Торопится, — говорок его был южным, терпким, округлым.

Те хохотнули. Тоже бородачи. Лишь презрение помогает мне не дрожать от моей смелости.

— Спроси у него куда, — сказал один.

— На тот свет. Куда еще! — сказал другой. Алычовый акцент. Нормативы безмыслия. Твердость.

— Встреча у меня.

— С кем? — спросил десятиначальник.

— С женой.

— С женой. Слышали? Нетерпех у тебя, что ли?

— Вроде того, — стиснул зубы я. — Она — бывшая жена.

— Вроде того, — хмыкнул мой мучитель. Потом пауза, не зловещая, но испытующая, пожалуй. — Ну, иди!

Бросил мой паспорт мне под ноги, я быстро наклонился, подхватил с асфальта и паспорт, и телефон и стал почтительно пятиться от бородачей. С невымышленным мажорным приятием. Сердце мое — иволга, теплый комочек, без песен, но с трепетом. Все поднятое сунул за пазуху, не разглядывая, в одно место. Наконец почти бегом понесся в сторону Фонтанки. Бегом стремительным, в фа-мажоре. Смерти страх — сердца штраф.

— Больше нам не попадайся! — прикрикнул один из сарацин.

15.

Бог меня предал, и человек меня предал, но значит ли это, что пьедестал свободен? Нет, пьедестал не свободен, ибо на него в один прекрасный момент водрузилось великое Ничто. Поначалу оно притворилось игрою, и люди охотно предавались ей, потом игра прискучила, люди отвернулись от нее, и Ничто сбросило свою постыльную маску. Ничто перестало притворяться. Оно не было игрой, но оно не было и реальностью. Оно сделалось непознаваемым и неистребимым, оно стало и обозначением, и обозначаемым, кроме сего Ничто не было ничем более. Мир показался вдруг притчею, но от того никому не сделалось легче. Мир показался притчей, как раз включающей легкость. Бог же теперь вне закона.

В чем моя ошибка? Почему у меня ничего не вышло с симфонией? Все же во мне оказалось недостаточно таланта, недостаточно трепета и безумства. Гений существует для уничтожения своих предшественников, горделивого уничтожения. Или он только начинает с того. Гений — вместилище лихорадок, он — дом торжества и озарений, над которыми сам не властен, которым служит с верностью раба и адепта. Он — храм оплошности, пагода негодования, костел самоумаления и неудачи. Мой глаз слишком скрупулезен, мое ухо привыкло предаваться таинственному и неистовому. Самое простое совпадение или случайность способны ошеломить мой мозг. Надо еще поискать точное название этой болезни.

Поспешно шагаю по плитам гранитным, которыми вымощена набережная сей нарочитой реки. Надо мною лохматое холодное небо, с песьим выражением личности его, с кобелиною гримасою, со всеядным оскалом. И ветер, будто неуклюжий, нерешительный зверь: он наскაკивает, но не рвет, он пугает, но не торопится истребить. И оттого мучения длятся, но не проходят. Дома растопырились по обе стороны Фонтанки, помпезные постройки, но сейчас они выглядят жалкими и обездоленными. Многие квартиры ныне брошены своими владельцами, там выбиты стекла, где-то выгорели целые этажи. Целые же стекла заклеены бумажными полосами, все окна зашторены.

16.

Внезапно понимаю, что я не остался один. Кто-то посторонний имеет на меня виды. Я теперь наблюдаем, говорю себе. Это удивительное ощущение, оно требует для себя отдельного наименования. Поспешно оборачиваюсь. Наискось через проезжую часть перебегают Гришка Ермаков, поэт; да-да, и такое теперь называют поэтами! Нескладный человечек с шишковатой головой и умеренными волосами. Ливерные вирши. Где-то их и печатают, в журнальщиках, гадких, но заносчивых, по большей же части он читает их на всяких вечеринках на чердаках да в подвалах. Я всегда полагал его сугубым и половинчатым. Иногда мне кажется, что это не человек, но паровая машина с прохудившимися котлами, с системой изношенных прокладок и поршней, со скрипучими подшипниками, с разбитыми шарнирами...

— Мирослав! Мирославчик! — кричит он, меня нагоняя. — Подожди!

Я тут же выставил окрест себя все свое шиповниковое и непримиримое. Ныне трепет век моих, дрожание пальцев и вздохи груди следует настроить на битвы

с банальностью. Надмирная инициатива. Разрешимость. Пиротехникою неприязни. *Недоотчаяние.*

- Мне только тебя не хватало! — огрызнулся я. — Не вздумай даже подходить!
- Я и вчера, и позавчера вспоминал о тебе.
- А сегодня постарайся забыть.
- Я отойду от тебя, если ты дашь мне тыщу рублей на пиво.
- Я дал бы тебе и десять тысяч на водку, если бы мог поверить, что ты действительно отвяжешься.
- Ты все-таки ужасный хам! Именно за это я тебя и люблю.
- Не жди от меня ответного комплимента.
- Я вот сейчас тебе прочту...
- Если прочтешь хоть строчку, я скину тебя в Фонтанку!
- Я теперь работаю в технике пророчеств и откровений, — жалко напирал Григорий.
- Тем более! — крикнул я.
- Что — тем более?
- Знаю я все твои: «Где стол был яств, там гроб стоит».
- Это не мои, это Державина.
- Твои еще хуже.
- Нет, у меня все другое. Непосредственный контакт с небом, с космосом. Я не пишу, я записываю.
- Ты можешь заткнуться?
- Почему твои грубости меня совершенно не задевают?
- Потому что ты самовлюбленный бездарь и профессиональный попрошайка.
- Вы все наблаватились и обкастанедились. А нужны новые сверхъестественные практики. Сверхъестественные! Контакт же — другое. Даже гений — это ничто, низшая ступень. Гений — это всего лишь особая биохимия мозга, а контакт основан... на излучениях. Более тонких, чем электромагнитные волны. На способности эти излучения уловить, угадать. Вот именно это и есть высшее и недостижимое.
- Ты же достиг, — съязвил я.
- А ты думаешь, это так легко?
- Я ничего не думаю.
- Фонтанка! Черт, она обмелела, что ли? Ты заметил? Нет, правда: в ней воды стало меньше.
- Это просто ты постарел и поглупел.

Был день,
обмелевшей Фонтанки,
иссякнувших вод... — заголосил Григорий. —
Истлели слова,
те, что слетают
с потертых страниц неба...
И всадники,
всадники дня
и всадники ночи,
страшные неземные всадники...

- Ты можешь заткнуться?! — заорал я.

Аккорды вступления вдруг ударили во мне. Я отскочил к парапету и с ненавистью посмотрел на Григория. Я уже прежде записал их, и бумажные клочки с этими аккордами жгли мой карман. Мне отчего-то теперь не хватало саркастического и отстраненного. Главное — отстраненного!

— Ну что ты кричишь? Ты просто пока еще не готов. А между тем нас ждет апокалипсис. И каждый из нас примет в нем участие. Он уже совсем рядом. Все думают, что он придет из столицы. Но нет — столица здесь ни при чем. Ты, кстати, не хотел бы написать партию труб Страшного суда? Мне кажется, ты бы смог. Представляешь: он начинается, а к нему уже написана музыка. Ну, хотя бы только партия труб.

Взгляд. Переключаясь. Безразличие высокой частоты. Амплитуда.

— Ну и как? — снова язвительно. — Пипл хаает?

— Что?

— Твою писанину.

— Ну, дорогуша, — удивленно развел руками Григорий. — Пипл может схватить абсолютно все!

— Послушай! — полез я в карман. — Вот тебе деньги. Ты — великолепный вымогатель! Пять... шесть... даже семь тысяч. Купи себе водки или чего угодно... Только уйди!

— Дай мне еще две. Не хватит на водку.

— Черт с тобой! Вот тебе еще две!

— Хорошо! — горделиво принял от меня деньги Григорий. — Давай созвонимся сегодня, я расскажу тебе про то, что нас ждет. Я призван для того, чтобы сознавать все аспекты апокалипсиса... А вот вчера я Сотникова встретил, здесь недалеко... почти у твоего дома, так он мне сразу денег дал. И не ругал так меня, как ты. Он хоть и композитор тоже, а не такая сволочь, как некоторые...

— Что Сотников делал у моего дома? Что вы все делаете у моего дома? — закричал я.

— Понятия не имею, что он делал здесь. Но тобою он интересовался.

— Что ему надо было?

— Все-все, адье, дорогой!

— Черт тебя побери, что хотел Сотников?

— Пока-пока, я спешу!

— Верни деньги! — бросился я на Григория. Кулаки бы пустить в ход тоже не убоился я.

— Фигушки! Подарки обратно не отбирают, — отскочил он от меня.

Вдруг стал перебегать проезжую часть, я метнулся было за Григорием, но сзади что-то ехало, что-то передвигалось, я взглянул туда — военная машина (прорези, прицелы, пулеметы...), а тут мы с нашими, будто полудетскими игрищами! Вроде пятнашек. Я застыл, как дерево в штиль. Уязвленную неборимую осиною застыл я.

— Скотина! — лишь крикнул ему вслед. Или только пробормотал. Или только подумал. И тут же, немного ссутулясь, пошагал в сторону Невского. Военная машина обогнала меня. Холодок был под ложечкой и вблизи щиколоток. Условно-досрочное равнодушие. Тыквенный триумф. Трепет. Тревога.

17.

По Невскому бродил злой и замкнутый народец, кучками, группками, парами или, как я, одиночками. Ныне у людишек на плечах — озабоченность, никак не хотят они с тою расстаться, они гордятся своей озабоченностью, они благоговейно над той, они молятся на нее. Мне выпало жить в эпоху напуганных человечешек, и вам тоже выпало жить в эту эпоху, вот и смотрите теперь окрест себя со всею пристальностью, на которую способны! Со всем негодованием, что еще может уместиться в ваших сердцах, в ваших грудных клетках, в ваших узлах, отделах и клапанах. Смотрите и ужасайтесь! Вы скажете: мы не выбирали такие власти, мы не ставили над собою этих, что довели страну и народ до нынешнего бедствия. Все произошло

по странному, злomu сценарию, и мы были бессильны. Будто бы здесь даже поработал сам дьявол. Но дьявол ведь — это и есть человек. Да, вы были бессильны, но отчего вы были и равнодушны? Отчего не вопили и не бесновались, отчего не предавались пусть даже и хулиганствам, лишь бы те были заметны, лишь бы пугали и настораживали, лишь бы обличали ваши ярость и непримиримость?! Отчего не были вы вообще непримиримы, когда непримиримость, быть может, и есть вообще последнее достойное человека?! Его воздух, его воля, его соки, его назначение.

Проспект сей кошмарен, он всегда угнетал меня. В нем есть что-то противное человеку. Если будет жив человек, он не должен более прокладывать таких проспектов, никогда и ни при каких обстоятельствах; ни гордость, ни тщеславие не должны побуждать его к такому градостроительному безумству. Если же человек в силу какой-то карликовой странности души своей, в силу лилипутской ее причудливости хочет быть унижен, пусть, пожалуй, поселится на Невском, пусть ходит по нему всякий день свой, всякий вечер свой, пусть дышит воздухом этого монстра, этого помпезного уродца и растлителя. В Невском — плагиаторское и лжеязычное, парадно-беспорточное и несуразное. Заблуждается всякий чувствующий иначе, мыслящий иначе, видящий иначе. Опричствование — ныне единственный высокий удел человека. Или даже — единственно возможный. Впрочем, этого пока не осознают.

И снова вблизи моего мозга загремели аккорды вступления. Симфонии, которой мне не надо, симфонии, которая никогда не будет существовать. Отказ — знамя человеческого существования, я старался осязать пунктуацию отказа — его дефисы, его многоточия, его подчеркивания, его точки с запятой. Сверхъестественные секвенции и пророческие гармонии здесь, впрочем, не играют никаких ролей. Смысл по вызову. Я задышался теперь от всего симфонического, надсадного, ненормативного.

Возле моста с четырьмя жеребцами из бронзы столпились прохожие. Мост будто козырял горделивой своей полувыгнутостью. Мы ожидали, когда нам позволят перейти через Невский. Посередине проспекта похаживали двое военных регулировщиков, они все что-то высматривали, потом вдруг, должно быть, получив какой-то сигнал, замахали нам своими регулировщицкими палками. Мы трусцой стали перебегать проспект. От Гостиного двора в сторону вокзала шли танки колонной, нам позволили перебежать проспект перед носом у этой колонны.

18.

— Как это к тебе вообще приходят такие мелодии? — утром сказала мне Ольга.

Я как раз входил в комнату, вопроса ее не ожидал и оттого остановился. Горсть флажолетов. Мгновение, нервы.

— Меня сейчас не мелодии беспокоят, — сказал я. — Они были раньше и будут, надеюсь... — я замолчал. На фоне мельхиоровых сопряжений. Битвы безразличий. Праздник.

— А что же?

— Возможно, если явится что-то настоящее, единственное, безусловное, платою за него будет какая-то большая беда... я не умею выразить, но я ощущаю это.

— Ты опасешься, что плата окажется слишком непомерной? — подумав, сказала Ольга.

— Я опасюсь этого.

— Сейчас я приготовлю чай.

— Разве что для себя, — сказал я. — Я не стану теперь чая.

После она пила чай.

— Удивительно, что этих мелодий не было прежде, — сказала еще Ольга. — Мне кажется, они должны были быть всегда.

Я стоял, отвернувшись.

Я снова почти не спал этой ночью. Да нет же, этой ночью я не спал вовсе.

19.

Далее на Фонтанке мы все снова рассеялись, и я зашагал один. Идти мне было чуть менее часа. Метро после прошлогодних взрывов (тогда завалило два поезда в тоннелях) не работает, с наземным транспортом... в общем, там свои трудности, так что выбора особенного не было. Впрочем, обратно можно будет попробовать вернуться на автобусе. Двигательный рефлекс. Удивление перед обыкновенным.

Город этот следовало бы поднять на смех, насладиться собственной насмешливостью и после — забыть. И уж никак не жалеть, разумеется. Последнее было бы самым простым. Я шел левым берегом Фонтанки; град сей ныне будто в осадном положении, и оттого мы в осадном положении тоже. В Большом драматическом теперь — госпиталь, и подле въезда в бывший театр стояли две санитарные машины. Там была жизнь, там было движение.

Из Бородинской улицы вышла небольшая толпа юнцов, я сразу насторожился, увидев тех. Молодежная шайка. У них не бывает тормозов, они могут забить до смерти всякого, кого изберут себе в жертвы. Они переходили проезжую часть, я же шагал, не глядя в их сторону. Мы сближались. Мы вскоре должны были сойтись в одной точке. Сценарий предсказуем. Отвага ватаги. Если они окликнут меня — тогда я пропал. Напряжение сгрудилось во всех моих членах. Я — Мирослав Неспалов, ныне я — композитор и каторжник неудовлетворенности и еще заложник хорошо темперированных мгновений моих. Язираю на наше юношество с предубежденностью: у них еще так много времени, говорю себе я, у них вся жизнь впереди для того, чтобы стать никем и ничем. Великая экспрессия. Скудость.

Трудно было удержаться, чтобы не прибавить шаг, чтобы не побежать. Но я все-таки выдержал, не прибавил шаг и прошел прямо перед носом у замешкавшихся юнцов.

— Эй! — коротко окликнул меня один.

— Оставь! — одернул того другой.

И первый «оставил». Отчего он оставил? Отчего они не тронули меня? Быть может, не пришло еще время их действительной охоты, быть может, дерзость их не вполне назрела в эту минуту, быть может, они собирались дожидаться темноты, чтобы уж совсем распоясаться, но теперь я был все же спасен.

Юнцы поотстали. За Гороховой прибавилось еще несколько пешеходов, тех, с которыми мне было пока по пути. Местами на гранитных плитах набережной лежал снег. Шаг мой был шагом человека, полного высокой осведомленности.

20.

Быть может, ошибка моя в том, что я всегда писал ортодоксальную музыку, одну лишь ортодоксальную музыку для заурядных инструментов и естественных исполнителей. Стоило же мне заступить всего лишь носком за очерченную границу, как я спасовал.

Двуногие! Человечишки! Я пребывал в недрах немислимости и жемчужнодушия, пока они трудились трудами своего обывательства и сквернородности. Было

время, когда я засыпал без тоски и с верой в завтрашний день, теперь же я засыпаю с тоской и верой в свое отчаяние. Все бесполезно, отчаяние — тоже. Бесполезность же бесполезна всего более.

Град сей стал неотесан и неуютен. Бесцеремонен и безразличен стал он. Впрочем, он всегда был таким, своеобразным и навязчивым, сейчас же в нем все муторные особенности его лишь усугубились. Всесветные бдения. The military on line. Правоверные композиции.

Вернусь сегодня, сказал себе я, и стану дописывать адажио восьмого струнного квартета. Все-таки — развлечение. Если нормально поработать, то квартет можно закончить в два дня. И я заставляю себя сделать это. Квартет — это вообще легко; самый сложный из них мне буквально по щиколотку. Назову его «Мистическим» или «Неуверенным». На все время жизни лучше бы забыть то, что Бог есть. Жить, только лишь жить, с тоскою дожидаясь ветхости сердца и недугов сосудов, чтобы в конце концов снискать себе существование, ущемленное многими параличами, многими одышками и аритмиями, многими диссонансами и навязчивостями. Ныне же мне надлежит выговаривать недосказанное Заратустрой или Спинозой, мыслить мыслями мира, восхищаться звуками звуков мира, прежде не осевшими ни в одной из человеческих извилин. Амен.

21.

Мы встретились с Лизой на ступенях подле метро. Станция была закрыта, а вся площадь вокруг нее — пустыня.

Мы поцеловались.

— Я надеялся, что ты возьмешь с собой нашу дочь, я давно ее не видел, — сказал я.

— Все, что произошло, было твоим осознанным решением, на что же теперь можно жаловаться?

— Я и не жалею, но все же ты могла бы взять с собой Соню...

— У тебя особенный дар, Мирослав, — сказала Лиза, отступив на полшага и рассматривая меня вполглаза.

Считается, что она все еще шикарная женщина, и, кажется, она знает о том, что она шикарная женщина, знает во всякую минуту, во всякий свой вздох, во время всякого жеста, и это ее знание... Впрочем, она будто тот самый ужин, который следует отдать врагу.

— Какой? — механически сказал я.

Я сам — своя мышеловка, и сыр в мышеловке, и мышь, угодившая в оную, и отчаяние сыра, послужившего приманкою для мыши. Все еще стоим на ступенях. Искра иронии. Сожаление. Трепет.

— Ты — инквизитор. Но только не великий, а мелкий. Микроскопический. Тебе приятна роль микроскопического инквизитора? Сознайся, что ты всегда мечтал о такой роли! Ха-ха! — крикнула Лиза. — Шутка! Мне просто хотелось увидеть твое удивленное лицо...

— Ты его увидела... — успел вставить я.

— Оно столь же предсказуемо, как и все прочее в тебе.

— Когда я смогу увидеть дочь?

— Возможно, в выходные. Только не в следующие. В следующие я занята.

— А когда ты уезжаешь?

— Послезавтра. Или через три дня. Какая разница?

— Куда и насколько?

- Может быть, и навсегда.
- Что значит навсегда? А как же встреча с Соней?
- Нет-нет, Неспалов, так мы не договаривались.
- Давай договоримся теперь.
- Я пошутила, что насчет инквизитора это была шутка. Никакая это не шутка. С тобой вовсе невозможно шутить.
- Черт побери, Лиза! Зачем мы вообще здесь? Зачем я шел через половину города?
- То есть как это зачем? Из-за денег.
- Послушай, это действительно все мои деньги...
- Неспалов, ненавижу, когда ты ноешь!
- Я и не думаю ныть.
- Я тебе уже сказала, что ты выкрутишься.
- Каким, интересно, образом?
- Откуда я знаю? Дашь пару концертов, лучше за границей, в Голландии или в Норвегии.
- Я давно не концертировал. У меня пропал клавишный кураж.
- Надо же, — фыркнула Лиза. — Термин выдумал.
- Всем пианистам он известен.
- Ты явно не самый лучший пианист мира, но всегда выезжаешь на своей эксцентричности. Кстати, не самый худший вариант.
- Если это комплимент, то спасибо тебе за него. Если — сарказм, то тем более.
- Кстати, ты знаешь, что про тебя недавно написали в «The Guardian»?
- Нет, я не знаю, что про меня написали.
- Как же это? «По имеющимся у нас, хотя и не подтвержденным пока сведениям, знаменитый Неспалов бесследно пропал в этой дикой, умалишенной России».
- Это не так уж далеко от истины, но я призываю тебя отнестись к сему с юмором, — усмехнулся я.
- Мирослав, не заговаривай мне зубы. Доставай деньги.
- Я расстегнул куртку и засунул руку в прорезь подкладки. Это было непросто, деньги провалились в самый низ полы, пришлось изогнуться, чтобы дотянуться до пачки. Лиза критически наблюдала за моими ухищрениями.
- Иногда тебе замечательно удается выглядеть смехотворным, — вымолвила она.
- Ты очень любезна, — пробормотал я, вытаскивая первую пачку. Я слегка задышался, я немного изнемогал.
- Потом мучения мои повторились. И снова мне пришлось изгибаться.
- По крайней мере, точно и не кривлю душой.
- Я как раз это и имел в виду, — выдавил еще я.
- Тебе не стоит притворяться мучеником, Неспалов. У тебя сейчас есть прекрасная работа. Главное — оплачиваемая.
- Я тебе уже сообщил, что собираюсь отказаться от нее.
- Отказаться? — захохотала Лиза. — Не смеди меня! Это невозможно!
- Невозможно, чтобы я отказался?
- Во-первых, ты на это не способен, а во-вторых, тебя Альфонс просто размажет, если ты откажешься!
- Что? — застыл я.
- Лиза смутилась.
- Я, собственно, имела в виду...
- Тебе сказал Сотников, это понятно... А вот кто сказал Сотникову?
- Это неважно.
- В этом мире ничего нет важного, и все-таки...

— Черт побери, я сказала: хватит! Я не собираюсь больше ничего обсуждать, я хочу жить, даже не хорошо жить, об этом уже речь и не идет, а просто жить, а сейчас мое естественное право жизни ставится под сомнение. И ты теперь, Неспалов, тоже хочешь отобрать мою последнюю возможность свободы и достоинства, которую дают только деньги.

— Великолепный монолог!

Она ускользает, старается ускользнуть. В свою блистательную скорлупу. Sometimes. Атака уклончивости. Вот уж вторая пачка в моей руке. Лиза вцепляется в деньги орлицею. Если б я сопротивлялся, то, должно быть, разорвала бы не только пачку, но и мою руку. Звезда пленительного пренебрежения. Угроза незначительности. Бог и мир держат меня в напряжении не только скрытностью своих имен, но также — инициалов.

— Во всяком случае, ты можешь гордиться честно исполненным долгом! — торжественно вскинув в руке денежные пачки, восклицает Лиза. Прячет через мгновение.

Мимолетное. Марципановый маскарад. Эгонавт. Точность. Эволюция ослабляет инстинкты, а мы слишком долго плелись сомнительными ее тропами.

Жаба, в груди моей жаба, или нет — рядом с грудью. Жаба вдруг начинает бешоваться, трепетать, рваться на волю. Еще через несколько мгновений понимаю, что это — телефон у меня за пазухой. Боже, как же давно он не звонил! Я успел уж от него отвыкнуть.

Рву телефон из кармана.

— Кто? — кричу я и начинаю похаживать, будто пританцовывая.

Ответом мне — гулкий голос, нарочитый и вычурный.

— Мирослав Неспалов! Вы меня не знаете, но я вас знаю, — говорит. — Знаю все дела ваши. Знаю все ваши мысли и обстоятельства.

— Хватит, Худбин, ваш голос я не спутаю ни с каким, сколь бы старательно вы его ни исказили, — снова кричу я. — Вы где? Вы мне нужны! Я и сам собирался вам звонить.

— Я везде и нигде. Я далеко, и я у вас за спиной, — снова играет голос. Но не поддаюсь на уловку, не оборачиваюсь: за спиной у меня лишь одна Лиза, знаю я, и никакого Альфонса за спиной у меня нет.

— Худбин, вы в городе? Я хочу встретиться с вами. Мне надо сообщить вам нечто важное.

— Не знаю, не знаю, — отговаривается Альфонс. Звериное полупрিতворство. Знаю я. — Я сейчас так занят, — продолжает еще. — У меня столько встреч и переговоров...

— Нет уж, уважаемый, вы постарайтесь найти как-нибудь время и для меня!

— Ну, дорогой Неспалов... может быть, недели через полторы или... четыре... — тянет он и вдруг хохочет: — Черт побери, Мирослав! Шутка! Немедленно! Я весь в вашем распоряжении! Когда вы хотите встречаться? Желаете, через пятнадцать секунд? Желаете, через пять минут? Желаете, через полчаса?

— Через сорок минут.

— Через сорок! — резюмирует Альфонс. — Буду ждать вас в том же месте, где мы встречались неделю назад. Славное было местечко, странно даже, что уцелело; этаким там стильный интерьер: грот из камня и все прочее. Вы помните, разумеется, Неспалов? — тянет еще он.

— Разумеется, помню, — говорю я.

Кнопка отбоя. Угасая в досаде. Я — лезвие, и я — острое, мир же — иссеченная и исколотая плоть, сочающаяся кровью и усталыми своими соками. Существование в отсутствие дара высшей вятности. Отныне.

— Что тебя связывает с этим клоуном, Лиза? — спрашиваю я, оборачиваясь. — Лиза!

Но женщины нет сзади, ее нет нигде; я несколько раз озираюсь. Черт побери, была ли она вообще? Что в моей жизни — достоверное или несомненное? Впрочем, хочу ли я достоверного и несомненного? Ожидаемое сбывается, неожиданное лишь раздувает сферу случайного и сиюминутного. Не по чину безвестен. Нет и в помине. «Леди исчезает». Лиза.

22.

Мне попался по дороге какой-то шальной транспорт: автобус, впрочем, не муниципальный. Ехали подозрительные типы в полувоенных одеждах (но не сарацаны) и несколько штатских криминального вида, они-то и согласились меня подвезти. Пытались со мной заговаривать, но я отмалчивался. Триольные пульсации. Существование свое следует составить лишь из важных слов, молчаний и обстоятельств. Смысл есть предмет первой необходимости для бессонницы. Лошадиные дозы незаметности. Встряска. Ровно через сорок минут я подходил к двери ресторана, в котором мы встречались с Альфонсом неделю назад. С другой же стороны одновременно подходил он сам. Что-то картинное и нарочитое было в нашей обоюдной пунктуальности.

— Неспалов! — завизжал он. — На ловца и зверь бежит. Тем более такой зверь, как вы! Не чудо ли — зверь вроде вас? А?

— Довольно вам, Альфонс Янович! — скривился я. — Мне надо поговорить с вами.

— Мне и самому надо с вами поговорить. И крайне, заметьте, серьезно.

Мы вторглись в помещение, здесь было три человека за разными столиками. Распорядительности, ионы ничтожества. Коагуляция.

Нам навстречу уже шел официант, но Худбину, должно быть, показалось, что недостаточно быстро.

— Малыш, не спи! — закричал он. — Ну-ка быстро сюда! Где ты там вообще ходишь?

Худбин плюхнулся за столик подле окна, меня жестом руки пригласил сесть напротив.

— Здравствуйте. Слушаю вас, — остановился рядом официант.

— А ты не слушай, ты делай! Давай-ка нам быстренько, заяц, четыреста кубиков водочки в графинчике. И десяток маринованных огурчиков для начала. Только не вздумай сказать, что огурцы еще на грядке растут, а водочку еще с завода не привезли. Основной заказ мы попозже сделаем.

— Огурцы и водочка найдутся, — сказал он. И переступил с ноги на ногу.

— Ты до сих пор еще здесь? — крикнул Худбин.

— Уже лечу, — отвечивал официант и медленно стал удаляться.

— Да быстрее же, черт бы тебя! — загремел мой собеседник. — Я тебя сейчас стулом огрею.

— Это излишне, — спиной отвечивал официант, но шаг не прибавил.

— Вот! — самодовольно потер руки Худбин. — Я знаю, как обращаться с этой публикой.

— Надеюсь, вы знаете, как обращаться и со мной. Поэтому я...

— Не-не-не-не! — замахал руками Худбин. — Ни слова, ни полслова до тех пор, пока дивный русский напиток под названием «Vodka» не обожжет стенки наших с вами пищеводов и пока огурчики, деликатно хрустнув пред смертью, не улягутся на доньях наших с вами желудков, Неспалов. Пока сие не случится, всякие беседы святотатственны, дорогой мой, — тут Худбин шумно посопел. — Вам хорошо, Неспалов, вы — поджарый. А я вот, сами видите: заложник ожирения. Я уж все диеты перепробовал. И рисовую, и яблочную, и огуречную... Нет, помогает, конечно.

Сбросишь эдак килограммчиков шесть. Ходишь так неделю, собою довольный, а потом — банкет какой-то или встреча (а у нас в канцелярии сии оказии нередко приключаются), глядь — а уж и новых десять набрал. Почему так? Другие вот жрут — и все им ничего, бегают живчиками.

— Худбин, давайте уже поговорим, наконец!

— Не перебивайте, Неспалов! Вы, конечно, гений, но я-то ведь ваше начальство. А начальство надо уважать! Шучу! — тут же захохотал он. — Нет для вас начальства. Один мировой дух — ваше начальство. Да, может, и он никакое не начальство. Да ну, какое он начальство! Вы сами, Неспалов, инвестор мирового духа. А он ваш заемщик, к тому же не из самых надежных. Вы — инвестор ноосферы, Неспалов. Видите, дорогой мой, как я вас ценю?!

— Вижу! — буркнул я. Я взглянул теперь на Альфонса взором, полным злого отщепенчества. Живу я в нелогичном доме и при навязчивых обстоятельствах. Мир сей миром гнета и постылости наречется. Бессердечная недостаточность. Изморось.

Появился официант, появились водка и маринованные огурцы на блюде. Худбин поглядывал на все с подозрительностью и, пока официант наполнял наши стопки рукою в белой перчатке, подцепил один огурец и надкусил его.

Последовала пауза, ее почувствовали все.

— Это что такое, заяц? — с угрозой спросил Альфонс.

— М-м-м... — отвечивал официант. — Огурец.

— Это ты называешь огурцом? Эту короткую, кривую и вялую, как твой член, финтифлюшку ты называешь огурцом? Да ты знаешь вообще, каким должен быть маринованный огурец?

— Каким?

— Черт тебя побери! И если я говорю: «Черт тебя побери!», то означает именно: «Черт тебя побери!», а не: «Взгляните, какой за окном чудесный вечер!» Запоминай, заяц! Огурец должен быть мал, но не короток. Он должен быть прям, но не заносчив. Он должен хрустеть, а не приминаться. Он должен быть мускулист и упруг. Он должен вызывать радость и восхищение безграничностью божьего творения, в котором сыскалось место и ему, дарящему радость, и мне, эту радость вкушающему.

— Замечательно, — процедил молодой человек.

— Ты говоришь: «Замечательно»? — завопил Худбин.

— Может, хватит уже? — сказал я.

— Не хватит! Я и вам скажу, Неспалов, чтобы и вы тоже знали. Самое главное: маринованный огурец должен быть... тверд! — наконец железобетонно сказал мой собеседник.

— Если он будет тверд — зубы сломать можно! — вставил официант.

— А ты здесь не хами! — прикрикнул Худбин. — Вот еще взял моду! Ты вообще знаешь, заяц, кто сидит перед тобой?

— Сразу видно, что вы оба — большие люди, — уклончиво ответил тот.

— Большие люди! — захохотал Худбин. — Нет, это замечательно! — плечи, щеки и подбородок его сотрясались. — Смотри. Вот это — Моцарт, — жест в мою сторону. — Ты видел когда-нибудь живого Моцарта? Ну, так смотри! А я... Сальери, хочешь сказать ты? Не угадал! Я не Сальери, ибо бездарен. А Сальери бездарным не был. Но кто же тогда я, ты спросишь меня? А вот кто... Ты, конечно, слышал слово «культура»? Слышал! По глазам вижу! Так вот я — самый главный начальник, над всей этой вашей чертовой культурой! И ты имеешь наглость говорить мне, что твердым огурцом я должен сломать себе зубы? Какое, черт побери, покушение на культуру!

— Я этого не говорил, — процедил напускавший на себя все более и более невозмутимости официант.

— Пшел отсюда! — отмахнулся от того Худбин.

Молодой человек удалился. С навязчивою грацией конькобежца. С сутулою тяжестью шмеля. Серебро братоубийства. Бритвенная беззаботность. Лукавые назидания.

23.

— А теперь мой черед, — решительно сказал я.

— Теперь ваш черед, Неспалов, — машинально подтвердил Альфонс Янович.

Я разлил водку по стопкам. Секунду мы оба помедлили, потом выпили молча.

— Худбин, вы — хитрец, — начал я. — И я это в вас даже уважаю. В самом деле, я помню, как вы меня провели в прошлый раз... этот ваш блистательный монолог... а уж если вспомнить вашу игру на моих слабых струнах, на самолюбии, на тщеславии, на ответственности... И вот только я сказал «да», а вы тут же: «Что ж, теперь мы пригласим нашего дорогого Георгия Васильевича» — за соседним столом, спиной к нам, оказывается, сидел ваш юрист с готовым договором и с пачками ваших чертовых денег. Осталось только поставить подписи. Сегодня его нет рядом с нами, а, Худбин? Вы секунды лишней не дали мне подумать, а может, и передумать, вы разыграли вашу партию как по нотам.

И тут случилось «явление». По проходу между столами двое официантов (среди них был и наш «заяц») везли в нашу сторону две тележки. Они могли проехать мимо, но остановились прямо подле нас. На тележке были кастрюлька с ухой, салаты со спаржей и ананасами, дивной тонкости жульен с белыми грибами и какою-то птицею, креветки в соусе и еще блюда, которых я сразу не распознал.

— Ваш заказ, господа! — провозгласил «заяц».

— Какой еще заказ? — начал было я, но мельком взглянул на Альфонса, тот ухмылялся самодовольно, и я все понял.

— Все-все, спасибо, зайчики! — нетерпеливо махнул он рукой, едва только официанты сервировали наш стол несколькими блюдами и приборами, налили уху в высокобортные мисочки, расставили кокотницы, соусницы, менажницы. — Дальше мы сами справимся.

— Ах вы — прохвост! — с насмешливою досадой пробормотал я.

— Не каждый день угощаешь Моцарта, — парировал тот. — Здесь уж можно чуть-чуть побыть и прохвостом.

Официанты удалились.

24.

— Итак, я снова слушаю вас, Неспалов, — сказал Альфонс. — Кажется, вы начали какой-то монолог.

— Да. И в нем я отдал дань уважения вашим хитрости и артистизму. Теперь о главном. Несколько дней назад мы с вами подписали некий договор.

— Подписали, — подтвердил Худбин, ковырявшийся в жульене десертною вилочкой.

— Согласно тому договору я обязался в сжатые сроки написать симфоническое произведение, параметры коего были описаны лишь весьма приблизительным образом...

— Произведение высокой идеалистической направленности, в котором средствами музыкально-драматического языка будут отражены судьбы страны и человека

в наше трагическое и величественное время, — с легкостью вдруг процитировал Худбин.

— Именно так.

— Ничего особенного, — протянул Альфонс Янович. — Обычная чиновничья формулировка.

— Речь не об этом, — отрезал я.

— Жульен попробуйте! — возразил мой собеседник. — Я люблю здесь у них один только жульен.

— А я не люблю, когда меня не слушают! — с досадою сказал я. Правила благожелательности. Взмыть над миром лебедем неуверенности. Управляемая внезапность. Азбука Морзе.

— Я вас внимательно слушаю, Неспалов, — кротко ответил Альфонс Янович. — Но мне больно видеть, что вы пренебрегаете жульеном.

Машинально я положил в рот немного жульена. Граница нерасторжимости. С-дуг. Падучие мои просветления. Рот был отдельно, жульен был отдельно. Несовершенство.

— И вот теперь по причинам, которые оглашать я не вижу ни смысла, ни необходимости, я вынужден отказаться от написания заказанной мне симфонии, — твердо продолжил я. С кварцевую неоспоримостью.

Худбин, казалось, меня не расслышал, хотя не расслышать было невозможно.

— Грибы, — сказал он. — Грибы, сливы, сыр и мясо куропатки... Можно ли что-то придумать более отдаленное. Казалось бы, как им возможно сочетаться? А вот же сочетаются. И не просто сочетаются, но производят во мне ощущение счастья, Неспалов! Вы-то, впрочем, музыкант, вы умеете сочетать несочетаемое. Как это происходит? Как это вы так слышите? Не знаю! Чудо! И между нами говоря, знать не хочу. Чудо — это по вашей части, Неспалов. Вы — Моцарт, а не я. Вот говорят: гений! Что такое гений? — загремел вдруг мой собеседник.

— Потихе, пожалуйста, — попросил я.

— Я считаю вас артистом, равным Шекспиру или Моцарту, Неспалов. Хотя многие так не считают. Они говорят: нет, мол, пророка в своем отечестве! Да если в своем отечестве нет пророка, так черт побери такое отечество! Грош цена такому отечеству! Вы не согласны, что такому отечеству грош цена?

— Не согласен, — отчего-то боязливо оглянувшись, возразил я. — А впрочем, не знаю.

— Вот! — назидательно поднял палец Худбин.

— Что — вот?

— То и вот! — крикнул он.

У Альфонса Яновича всегда был громоздкий голос, и ему теперь приходилось утихомиривать его, чтобы пудовые гласные слов не раскатывались в самых отдаленных уголках помещения. Иногда Худбин спохватывался сам, иногда я просил говорить потихе, и тогда мы едва ли не шептались.

— Всякое величие, Неспалов, — бубнил Альфонс Янович, — оно лишь спускает с цепи какую-то новую, небывалую тенденцию. Какую-то изошренную стратегию. А вы-то велики, Неспалов! Поэтому и от вас исходят тенденция и стратегия, даже если вы того и не осознаете. Впрочем, это я не о том. И я нарочно *не о том*. Что, вы не хотите писать заказанную вам симфонию? Ну и не пишите себе на здоровье! Черт, да что же я такое говорю! Как это так «не пишите»?! Это совершенно невозможно, это даже не обсуждается! А знаете, Неспалов: я ведь люблю вашу симфонию! Она еще не написана, а я ее уже люблю. Потому что я знаю вас, знаю, что вы можете! Да нет же, черт побери, я не знаю, что вы можете! Всякий раз вы удивляете меня! Всякий раз вы пугаете меня! Да-да, пугаете! Со всяким новым вашим опусом вы

будто держите экзамен. И я даже временами злорадствую: ну, уж теперь-то Неспалов непременно впадет в банальность, говорю себе я, в шопеновщину! В рахманиновщину! В преувеличенный драматизм! В стравинщину! В авангард! В символизм! В публицистичность! А вы, черт вас побери, всякий раз совершенно никуда не впадаете! А это даже обидно! Это даже гнусно, ибо тлѐю я начинаю ощущать себя пред вами, Неспалов, пред вашей мыслью! Насекомым! Я много думал о вашей симфонии, я думаю о ней не переставая. Будь моя воля, знаете, как бы я ее назвал? «Великая симфония». Да-да, и совершенно не следует скромничать. Вы напишете великую симфонию, Неспалов, я не сомневаюсь в этом...

— Не напишу, — успел вставить я.

— А значит, она так и должна называться: «Великая симфония». Нам с вами этого никто не позволит, конечно. Но отчего бы не помечтать минуту! Итак, мы говорили о гениальности, — сказал он. — Всякий гений — в народе своем исключение. В народе, а потом еще и в мире. Впрочем, что это за мир такой?! — болезненно искривившись, говорил Альфонс Янович. — Черт побери, разве это мир? Теперь уж все цивилизационное исчерпано. А мало ли народу ныне истребляется в мире за какую-нибудь этимологию или пунктуацию! Я даже не говорю — религию! Религия — система ограничений, вид сумасшествия. А культура! Нет никакой культуры! Только — манок для особей противоположного пола...

— Вы же, кажется, числитесь по ведомству культуры... — съязвил я.

— Именно потому так и говорю, — парировал тот.

— Все-таки вы не хотите меня услышать, — настаивал я.

— Вас я точно не хочу слышать, — кротко заметил Альфонс. — А вот музыку вашу до замиранья сердца жажду.

— А будет все как раз наоборот: меня вам услышать придется, а симфонию мою — нет.

— Цыплят по осени считают.

— Я с вами не про цыплят говорю.

— Я тоже.

— И что дальше?

— Неспалов, — сказал мой собеседник, — вы знаете «Поэму экстаза» Скрябина?

— Разумеется. Я дирижировал ею.

— Хорошо помните ее?

— От первой и до последней ноты. Могу пропеть, если хотите, любую оркестровую партию, — отвечал с внезапным ожесточением.

— Стало быть, любите эту вещь?

— На что вам это знать, Худбин? — крикнул я.

— Ответьте, Неспалов.

На мгновение задумался. Вдруг зазвучали во мне избегания тоники. Уклонения от устойчивостей. Духопомазание. Изредка.

— Не в том дело, что люблю, — с усилием начал я. — Меня эта вещь... как-то так примиряет с человеком. Я даже начинаю человеком гордиться, пожалуй. Его духом и изобретательностью.

— Значит, в другое время не гордитесь?

— Не горжусь.

— А «Просветленная ночь» Шёнберга?

— Этим я не дирижировал. Что за странный вы затеяли разговор?! — Ожидающий. Подлить масла в огонь недоверчивости. Бравада. Прямохождение.

— Ничего странного! Я хорошо понимаю всю неуместность сравнений. Но представляете, вот вы сейчас пишете симфонию, и это вдруг оказывается новая «Поэма

экстаза», новая «Просветленная ночь»... А почему? А все потому, что в чьей-то сановной голове... не с таким уж большим количеством извилин, замечу я в скобках... вдруг зародилась странная и счастливая мысль: а что если одно непоименованное событие, которое еще не произошло, но которое обязательно произойдет... что если это событие сопроводить некой музыкой, симфонией, но симфонией самого великого из ныне здравствующих композиторов, вашей музыкой, Неспалов?! Не написанной пока вашей музыкой. Но которая обязательно будет написана. «Что ж, разве нельзя без музыки?» — спросите вы. Можно, конечно! Музыка вообще имеет символическое значение, она имеет значение морального светоча. Музыка укрепляет, музыка воодушевляет, музыкой можно направить и в бой, и в радость, и в тоску, и в благонаравие.

— О каком событии вы говорите, Худбин?

— Понятия не имею! Я — мелкая сошка, на мне всего лишь культура, мне тоже не говорят. Я могу строить догадки, как и вы. Мои догадки будут иметь цену ту же, что и ваши. Мы с вами не политики, Неспалов. Вернее, я политик, но лишь отчасти, вы же вовсе не политик. Вы — гений, как мы уже отметили. Но этого слишком мало, чтобы по-настоящему понять происходящее.

— Оставьте вы эту вашу ересь! — брюзгливо отозвался я.

— Черт! — сказал Худбин. — Из-за вас уха остывает.

— Плевать на уху! — буркнул я. Я сам себе показался подростком, взъерошенным и непримиримым.

— То есть как это плевать на уху! — заволновался Альфонс Янович. — На уху нельзя плевать! Ее есть надо.

— Вот и ешьте!

— Только после вас, милый Моцарт!

Я придвинул к себе поближе уху и вяло попробовал ее. Уха была хороша. Кусочки стерляди в ней перемежались еще с какой-то рыбкою; этой рыбки я не знал, я не обязан знать всех ваших рыбок. Альфонс Янович, согнувшись в три погибели над своей порцией, тут же быстро поглотил несколько ложек сего изощренного блюда.

— Кому вы еще сделали тот же самый заказ? — спросил вдруг я и вперился в моего чиновного собеседника. Я ожидал, что тот вздрогнет, почему-то я этого очень хотел. Однако же не тут-то было! Он лишь с сожалением приостановил на минуту поглощение пищи.

— Вы полагали, Неспалов, что я вздрогну? — пронизательно бросил Худбин. Тут уж я в свою очередь внутренне содрогнулся. Ассоциативный ряд. Высший пилотаж пошлости. — Что у меня станут бегать глаза? Представьте себе, не вздрогнул, и глаза не забегали.

— Сколько моих коллег получили этот заказ? Говорите же! Пять? Двадцать? Пятьдесят?

— Нисколько.

— Худбин, если это был какой-то конкурс, вы должны были уведомить меня!

— Не было никакого конкурса. К тому же вы его уже выиграли.

— Не хочу никакого вашего выигрыша.

— А это случилось помимо вашей воли. Просто в силу масштаба вашей незаурядности, милый Моцарт!

— Стало быть, я уже не свободен?

— Стало быть, не свободны.

— Вы серьезно?

— Серьезней не бывает, — сказал Худбин. *F-moll. Andante sostenuto.* Я смотрел на Альфонса почти с отвращением. Однако же надо было и решаться.

— Аванс я верну в течение месяца. Если что, вы знаете, где меня искать, — холодно сказал я. Сколько в мыслях моих и ощущениях было неточного, несчастного и неудовлетворительного. Не время. Не сюда. Незачем.

Собеседник мой поджал губы.

— Неспалов, — сказал тот.

— Что? — вскричал я.

— Я, знаете ли, все насчет Скрябина, — сказал он и вдруг — о ужас! — быстро и едва ли не глумливо подмигнул мне.

— При чем, черт побери, здесь Скрябин?!

— Значит, любую фразу помните?

— А вам подтверждения хочется?

— И пропеть можете?

— Разумеется, могу!

И тут произошло что-то невероятное, непостижимое. Худбин не ответил, но лишь отчетливо и точно пропел фразу из моей симфонии... той самой, которой не существует. Из главной темы. Я даже похолодел. Как он может знать? Я бы ее не спутал ни с чем, ее вообще ни с чем не возможно спутать. Подобная возгласу; с маршевой поступью, с прихотливой певучестью, бронзовозвонная, горделивая, белогрудая, сумеречно-фантастичная... и какая там еще? Она еще после должна была биться о гранит многих искушений, она должна была охрипнуть, сникнуть, изойти, расточиться, извериться, она должна была еще отравиться сернистым газом нашего подлого настоящего, многие бесы обидели бы ее своими преувеличенными сарказмами, своими пустородною проницательностью и неистинным клокотанием, что-то прокаженное, нечистое, несчастное должно было появиться на ее плечах, в петлицах, на ветвях и отрогах. И тогда даже гибель, даже распад и истребление станут пронизаны радостью, облегчением, которых только и сможет жаждать человек, до ключиц, до предплечий, переносицы и надбровных дуг погрязший в восхитительных делах своих и намерениях. В блаженных своих замыслах и неудовлетворенностях. Таков был план, таковы избранные предназначения!

Неужто — Ольга? Могла ли она? Нет, Ольга сделать это не способна. Слишком уж она предана мне. А предана ли она мне? Или я за себя совсем уж отвечать не могу. Ольга?

Оттолкнув грузное свое сиденье, я шумно вскочил с места.

— Вы — дьявол, Худбин! — крикнул я.

— Сядьте, Неспалов! — повелительно отвечал тот.

— Я уйду!

— Я позволю себе напомнить вам о существовании между нами некоего договора! Того самого! — выкрикнул Альфонс Янович с некоторою даже визгливостью.

— Этот договор не скреплен кровью! — бросил я через плечо.

— За кровью дело не станет! — отчетливо сказал тот.

Но я был уже подле выхода и через мгновение хлопнул дверью.

25.

Но нет же, выхода нет! Возможно лишь приблизить то, чего боишься. Впрочем, не так! Сегодня мне приснилось, что я рисовый. Вместо клеток — зерна фантастического, вычурного риса, и каждая клетка — живое существо, со своею душой, со своею историей, со своею биографией, со своими упованиями и сетованиями, со своею бедой. Все они рождаются, развиваются, производят потомства,

умирают. Каждый из нас — собрание миллиардов существ, конгломерат, консорциум, все они объединяются для решения какой-то задачи: обеспечения моего дыхания, моей мысли, моей музыки, моей тоски. Если во мне звучит новая музыка, значит, консорциум поработал именно над этой задачей. И поработал отлично.

Еще мне почудилось, будто я бегу. От кого бегу я? Бегу от вашего ура-патриотического быдла с его кургузой неопределенностью, с его генно-модифицированной причудливостью. И вместе с тем бег мой обречен, обречен на неуспех! Успех притаился в сторонке, прикинувшись сиротой, обрядившись в праведность и незаметность. Успех — забава певичек и футболистов. Неуспех же — господин мира и человека, главарь обстоятельств и всего преднамеренного. Надсмотрщик и насмешник. Сюзерен и пролаза. Восемьдесят пять. Что такое восемьдесят пять? Ничего, просто число, самое обыкновенное.

Утром проснулся с умом, выжженным напалмом сна. Меня не устраивает участь *один из*; мне отвратителен и удел *никого кроме*. Мне подозрительны и блистательность с уникальностью, меня настораживают и гармония, и непогрешимости. Неужто кто-то, помимо меня, способен еще на профессионализм бесчеловечия, на безграничность неудовлетворенности?

Впрочем, снова солгал. Я не спал вовсе. Я лишь раз забылся, сидя в кресле, я был весь скособолен, я извелся и издергался и, быть может, сам не заметил своего дремотного фиаско. Видел ли я сны? Я глотал шнапс с лимонным соком — я думал так успокоиться. А мое возвращение? Полностью ли я отошел и оттаял после встречи с Альфонсом? В любом случае я пытался. Важнейшая из задач моих — обескураживание мира и человека. И еще я положил себе трудиться трудами беспредельными и высокими, за что снискать в конце концов мои главнейшие из наград — смерть и забвение!

Пожалуй, я клокотал. Правда моя для меня была очевидной. Или — нет, она была сомнительною. Но — Худбин! Как он мог?! Я заставил себя успокоиться и даже отрешиться от всего. Это удалось только в моей Моховой. Прежде чем зайти в парадное с повапленными стенами, я заглянул под арку и во двор. Там было темно, там были ночь набожная и тьма аспидная, чернота густогривая, мрак масти сапожной, но ничего необычного я не заметил.

26.

Удивительно, но работал лифт! Дверь громыхнула, и я поехал на нем на свой четвертый этаж, бормоча про себя мотивы из струнного квартета, занозой засевшего в недрах моего прокаженного мозга. Русскому следует приходиться на всемирное торжище тщеславий со своею стократной созидательной лихорадкой. Я почти не замечал резонности иного промелькнувшего. Ныне мир славен своими бесноватостями. А я еще так давно не взирал ни на какие новые смыслы неотрывно, как бы сам ни старался себя убеждать или настраивать. Обреченное — вооружающее. Пред началом улиточьей ночи. Порабощение. Урок дискомфорта. Страх — всему голова.

Лифт остановился. Дверь лягнула открываемая. Я стал выходить, но отшатнулся. Кто-то шагнул мне навстречу, было темно, я ожидал, что меня ударят, хотел закрыться рукою; шило! — я уже не успевал, ничего не успевал, не то что защититься руками, но даже и воздух в груди переменить! ныне единственный брат мой — ужас! но этот человек не мог меня ударить, это оказался всего лишь Гольдфарб. Сей человек не из числа кровожадных цветков. Безжалостных млекопитающих.

— Неспалов, — устало сказал он.

Я, как мог, приосанился.

— Я совсем вымотался, — сказал я с натужной превентивностью. Вспышка предвидения. Урок горечи.

— Иначе и быть не могло.

— Зачем вы здесь стояли?

— Ждал вас.

— Я спать пойду.

— Всего десять минут!

— Уверены, что только десять?

— Мне бы только фокус-покус вам один показать.

— Что еще за фокус-покус? — пожал я плечами.

— Там все продолжается, — плаксиво пробормотал вдруг Гольдфарб.

— Что продолжается?

— Да все то же, что и было, — махнул он рукой неуверенно. Мишура. Миттельшпиль. Я обреченно поплелся вслед за Гольдфарбом. Мы поднялись на один этаж. Дверь Гольдфарбовой квартиры была приоткрыта.

— А водопроводчики? — шепнул я.

— Т-с-с! — шепнул мне Гольдфарб, и мы потихоньку вошли в квартиру.

27.

Гольдфарб вел меня в гостиную. Свет не горел, но глаза уж начали привыкать к темноте. Я никогда не гордился своими глазами, они нередко подводили меня. Мы с Леонидом постояли минуты две.

— Видите? — сказал Гольдфарб.

— Что?

Леонид молча взял меня за руку и подвел ближе к дивану. Прикосновение. Я уже слышал *ничто*, слышал небытие, но все ж, принуждаемый моим собеседником, стал с болезненной неприязнью ощупывать то, что предо мною было теперь. Мертвое тело — в том уж больше не стоило сомневаться.

— А теперь? — спросил Гольдфарб.

— Леонид, — взмолился я. — Зажгите хоть свечку.

Свечка была на столе посередине зала, Гольдфарб чиркнул спичкой, и вот уж над столешницей запрыгал бойкий и неуверенный огонек.

Предо мною лежала мертвая немолодая женщина, лежала на спине, глаза ее были закрыты.

— Вот вам и фокус-покус, дорогой. А вы мне не верили!..

— Как же это? — растерянно протянул я. — Когда?

— А вот мы с вами расстались... Вы пошли по своим делам... а я постоял немно-го... впрочем, нет! Постоял я много, почти полчаса, все никак не мог заставить себя. Я опасался, что водопроводчики выйдут. Но они так и не вышли. Я тогда уже знал, что здесь увижу. И тогда я через черный ход, тихо, как мышка... Хотя чего, спрашивается, было таиться? Можно было хоть бы и нарочно топтать. Дело-то уж сделано!

На мгновение у меня закружилась голова, и еще сердце... Взволнованная птица-сердце... она сделалась большой и нестерпимой, она была на минуту счастливой или всего только на несколько беспорядочных и неуловимых мгновений.

— Гольдфарб, я сяду! Голова кружится, — пробормотал я, отступая.

— Садитесь! — захолопотал тот, видя, должно быть, мою бледность. — Не каждый день, дорогой мой, такие фокусы-покусы...

Я упал на стул. Но был ли я теперь бессилен? Нет, я не был бессилен. Я, напротив, был дьявольски силен, хитер, осмотрителен и даже безжалостен. Мне только

немного нужно было отдохнуть, всего пятнадцать ударов сердца моего отдохнуть. Горстка причудливых мелодий копошилась в моих внутрочерепных катакомбах, билась о барабанные перепонки, подбиралась к вискам и гайморовым пазухам, рвалась наружу, внезапно почувствовал я.

28.

- Она так и лежала? — спросил я.
- Нет. На полу. Я перенес.
- Зачем?
- Так... на постели лучше.
- Лучше?
- На полу, на постели! Никому до этого и дела не будет! — раздраженно проговорил Гольдфарб.
- Вы кому-нибудь уже?..
- Только вам, Неспалов.
- Хорошо, — зачем-то сказал я.
- А вы думаете, надо? — забормотал Гольдфарб.
- Я посмотрел на него удивленно.
- Наверное. Как же без этого?!
- Да-да, я понимаю.
- Как это сделали?
- Шило. Такое же шило. Сзади. Прямо в сердце, видать. У вас есть шило, Неспалов?
- Нет, — сказал я. — Впрочем, есть. Вам показать?
- У меня тоже есть, — сказал Леонид.
- Без шила сейчас нельзя.
- Невозможно, — подтвердил Гольдфарб. — И даже опасно.
- А, — сказал я. — Почерк. Тот же самый! Почерк, говорят, невозможно подделать.
- Этот почерк подделать возможно. Нужно только вжиться в роль, и — дело в шляпе! Я бы и сам при необходимости подделал такой почерк!
- Кто это мог сделать?
- Кто мог сделать? — переспросил Гольдфарб, голос его звенел все более и чуть было даже не срывался. — Да кто угодно: вы, я, водопроводчики, маньяк, инспектор, соседи, какой-нибудь коммивояжер, врач из поликлиники, помощник депутата, социальный работник — любой мог сделать, я вам говорю!
- Успокойтесь, Гольдфарб!
- Черт побери! — забормотал тот. — Они же теперь ни перед чем не остановятся.
- Кто?
- Те, кто все это начал.
- Кто это начал?
- О чем вы, Неспалов?
- Вы знаете тех, кто все это делает?
- Знаю ли я? Да, может, это вообще не люди! А впрочем, пожалуй, и люди. Не животные же! А вы что, вы про смерти эти меня спрашиваете?
- А вы что, Гольдфарб, не про смерти разве говорите?
- Да-да, — спохватился вдруг мой собеседник. — И про них тоже.
- А еще про что?
- Про деньги, Неспалов.
- Что-о? — удивленно протянул я.

— Про очень большие деньги. Такие, что одному человеку безмерность их и вообразить невозможно. Пред такими-то деньгами и смерть какая-то там — ничто. И даже тысяча смертей — ничто! Это — миллиарды! Сотни миллиардов! Тысячи миллиардов! А маховик уже запущен!

Во мне вдруг стало что-то задыхаться. Но что же? Разве это не был я сам? Но нет же, это скрипки! В головокружительно-независимой их поступи. Нехорош был лишь источник — моя проклятая симфония! Моя ненужная симфония. Это наваждение следовало бы с себя стряхнуть. Над этой идеей следовало бы посмеяться. Душа моя велика в своей невыразительности, душа моя божественна в своей никчемности! Знал я. В этом мире всегда синонимы — абсурд и божий промысел.

— К чему теперь об этом? — с брюзгливостью сказал я.

— Но как же?! — изумился Гольдфарб. — Это самое главное.

— Деньги — главное?

— Они самые! Я только боюсь выбиться за обещанные десять минут. Сколько уже прошло? Пять? Или шесть? Вы ведь устали, Неспалов!

— Да, устал.

— Вы поймите! — хрипло говорил Гольдфарб. — Им просто нужен одновременно миллион беззаконий, им нужна настоящая смута! Им нужно, чтобы разом исторглись океаны гнева, чтобы народы с насиженных мест сдвинулись, чтоб из всех щелей хлынуло, а поскольку гнев будет ненаправляемым, то он окажется разрушительным и катастрофичным, что, собственно, и требовалось доказать! Их потом спросят: а где деньги? А они скажут: деньги были, верно, но вы ведь видели катастрофу, вот катастрофа все деньги и пожрала. После катастрофы спроса настоящего не будет.

— Черт побери, о ком вы говорите, Гольдфарб?

— Вы разве ж не понимаете?

— Может, и понимаю. Но вы все равно скажите.

— Их не так уж и много. Они считают себя мозгом и силой нации. Им плевать на остальные миллионы, они гордятся своею удачливостью и полагают оную от Бога. Они — власть и бахвальство. Они — сытость и безразличие.

— Если они — мозг и сила, то кто же тогда мы?

— Мы? — растерянно переспросил Гольдфарб. Невзирая. Обратной пропорциональной независимости. Клинопись. — Мы — нервы! Всего лишь нервы нации! Кто же еще?

Я стал взбудораженно расхаживать по комнате. Гольдфарб уселся на мой стул. Он замолчал и лишь следил за моими расхаживаниями. Звуки-заусеницы, ноты-занозы. Жизнь с ее состоявшейся недвуусмысленностью.

— Но что же делать, Гольдфарб? — мне вдруг показалось, что тот крадется сзади, крадется в мою сторону и, быть может, уже совсем рядом и замахивается на меня, и в руках у него... что же в руках у него? шило? Я стремительно обернулся и отскочил в сторону. Гольдфарб сидел на стуле. Скорбно и монохромно. И вовсе он не собирался замахиваться.

— Что делать? — переспросил тот.

— Да.

— А вот вы знаете, кто вы такой?

— И кто же?

— Вы, Неспалов, — сверчок, знающий свой шесток, но этот шесток высоко в небесах, это самый высокий шесток в музыке и, может даже, в мире. А поэтому... знаете, что поэтому? Гряньте, Неспалов!

— Что грянуть?

— Просто гряньте! Вы можете! Вы умеете! Вас услышат!

— Не умею, — устало сказал я. Одиннадцатая минута. Краеугольные камни не-удовлетворенности.

— Я вам говорю, Неспалов! Я — полумертвый старик, да нет же — уже практически мертвый. Из недр своей посредственности говорю. Ведь я же посредствен, Неспалов. И смиренно сознаю это! Послушайте меня! И — гряньте! На весь мир, на все тропки и переулки, на все кулуары и конференц-залы, на все кружки и сообщества! Чтобы мы все задохнулись от пронзительности. От подлинной пронзительности, которую способно доставить только высокое искусство. Гряньте так вот, Неспалов! С размашистостью сердца. Или — даже вовсе без сердца, лишь одним умом, лишь одним смыслом, одним талантом! Да, собственно, вы ведь и сами знаете — как! Я этого не услышу, конечно, но пусть оно будет! Нам бы всем теперь грянуть, конечно, ну да мы на это, пожалуй, и не способны. Одна на вас надежда, Неспалов! Слышите, дорогой мой?!

— Идите к черту, Гольдфарб! — равнодушно сказал я. Да-да, я сказал именно так. Ныне вспоминаю о том и ничуть не стыжусь. И сколько бы мне ни осталось еще часов или мгновений, все равно никогда не стану стыдиться того.

29.

Быть может, две сотни минут оставалось до полудня или чуть менее того. Я открыл дверь; там была Ольга, и за спиной у нее еще несколько человек, в том числе инспектор Шутко. Ольга казалась смущенною.

— Пойдемте, — сказал мне «этот чертов» инспектор. — Вы должны нам помочь.

— Что случилось? — спросил я.

— Нам нужен понятый. А вы здесь живете.

— Это надолго?

— Не очень.

— Мне нужно переодеться, — сказал я.

Они все шагнули в мою прихожую, там же и остались, непрошенные гости; Ольга — единственная — за мною направилась. «Давно пора покончить все счета с миром и со своеобразием», — лишь сказал себе я. Диктатура мишуры. *Panem et circenses*.

— Я шла к тебе, а они за мной следом, — сказала Ольга, будто оправдываясь.

— Это понятно, — отвечивал я.

— Я предложила им пойти мне вместо тебя, но они сказали, что лучше, если это будешь ты.

— Да-да, — пробормотал я. — Так будет лучше.

Ольга увидела обрывки партитуры на полу и стала их собирать. Мгновение разглядывала один клочок, лицо ее вдруг исказилось. Теневая сторона. Иные из мимик я вообще люблю до болезни.

— Зачем? — прошептала она.

— Потом, — сказал я.

Переодевание мое было отчасти символическим: я лишь переменял рубашку и накинул сверху потертую тужурку с прорехою под мышкой. Иногда я кажусь себе манерным, как кисейная барышня, и кропотливым, как чиновная сволоочь. Давно прежде я положил себе с чрезвычайным достоинством носить и жизнь, и полужизнь свои, и, в особенности, предсмертие. Территория инстинктивного. Трепет.

— Что там могло случиться? — спросила Ольга.

— Симфония. Ты ее кому-то показывала?

— Никому, — ответила Ольга.

- Я видел Альфонса. Он знает тему из нее.
- Я никому не показывала, — повторила женщина.
- Хорошо, — пожал я плечами. — Тогда... — протянул я. Но не договорил.
- Может, мне пойти с тобой? — спросила Ольга.
- Звали меня одного.
- Это так, — ответила Ольга.

30.

Сей день, быть может, имел некое самомнение и даже высокое самомнение, со стороны же он был вроде цыпленка со свернутой шеей. Мы поднялись на этаж, зашли в квартиру Гольдфарба. Дверь в квартиру не была заперта, и слышалось несколько голосов из гостиной. Я знал уже, что здесь увижу. Мир тавтологией держится, одною лишь тавтологией. Тавтологичны и наши морали, и наши созвучия. Наши сообщества и созерцания. Мне очень не хотелось предстать перед новой компанией озабоченным, весьма не хотелось. Ведь бывали же и у меня когда-то триумфы, случались когда-то и у меня чествования, сказал себе я, но я теперь только не успел перестроить выражение лица своего, несчастное и непригодное его выражение.

В гостиной была небольшая толпа, человек до шести, не считая нас вошедших. Знал я только одну женщину из нашего дома, сидевшую здесь на стуле с видом вполне отрешенным. Звали ее Региной. При свете все выглядело иначе, нежели ночью при свече. Тело жены Гольдфарба лежало на диване, в застывшем и заострившемся лице ее утвердилось что-то насмешливое. Из-под стола торчали ноги. Это уж был сам Гольдфарб. Над ним склонился мужчина с какой-то подозрительной плешивостью. Несколько раз сверкнула вспышка увесистого фотоаппарата, голоса людей казались гулками и бесприютными. Гольдфарб тоже был мертв.

— Это — Неспалов, композитор и сосед снизу, — представил меня Шутко.

— Пусть сядет на стул и не мешает пока. Им позже займемся, — хмуро отвечал человек в пальто, даже не оборачиваясь.

Это было грубо, для такого не стоило меня приглашать. Вторую подобную выходку я ему не спущу. Я сел подле Регины. Она полуиспуганно взглянула на меня и отвернулась. Тот, что фотографировал, распрямился, что-то искал глазами вокруг и методично стал снимать обстановку в гостиной. Стол, стены, диван, дверь, окна. А все же иногда следует купаться в банальности, дышать банальностью, благоговеть перед нею, — сказал себе я. Банальность — свет мира и соль почвы, основа основ и завершение завершений. Реестр уязвимостей. Симптомы спокойствия. Духовная диета.

«Следователь», — подумал я про человека в пальто.

Иногда приходилось вытягивать шею, чтобы что-то рассмотреть. Безучастность же Регины чудилась демонстративной. Я с ожесточением взирал на всех пребывавших в гостиной млекопитающих.

— Закончил снимать? — спросил следователь.

— Закончил, — сказал лысоватый.

— Тоже — шило? — шепнул я Регине, малозаметно кивнув в сторону Гольдфарба.

— Что? — встрепенулась женщина.

— Задушен, — кратко ответил мне Шутко.

— Не надо разговаривать, — неприязненно бросил следователь.

Двое мужчин из свиты следователя, на корточках присев подле стола, стали осматривать Гольдфарбово тело.

- Следы борьбы есть? — буркнул патрон этих двоих.
- Пока непонятно, — ответил один.
- Стул опрокинут — вот тебе и след борьбы, — возразил другой.
- Это не след. Мог и сам уронить.
- Почему он в пальто? — спросил еще следователь.
- Может, только вернулся, — сказал кто-то.
- Или собрался уходить.
- Старуху-то он кончил — факт! — заявил один из следователевых подручных.
- Ага! А потом сам себя придушил, — возразил его товарищ.
- Кто его придушил — это отдельная тема, а старуху — наверняка он.
- Вы мне шило давайте ищите! — гаркнул следователь.
- Искали уже.
- Ищите снова!
- А может, его тот унес?
- Какой еще тот?
- Который деда придушил.
- Не было никакого третьего! Третий — лишний!
- А душил кто?
- Конь в пальто.
- Про коня надо в протокол занести.
- Болтай поменьше!
- Третий все-таки был, — вмешался Шутко. — Но картина действительно непонятная.
- Ты здесь для того и находишься, — огрызнулся следователь, — чтобы картину прояснять.
- Тогда хотя бы не мешайте работать, — ответил инспектор.
- А кто тебе мешает?
- Ему нужен кинолог с собакой, — вставил еще кто-то.
- Ты и сам за собаку сойдешь, — ответил Шутко.
- Гав! — сказал тот.

31.

Следователь подхватил стул и против нас с Региной уселся, поставив его спинкой вперед. К прежним аккордам вступления добавился вдруг какой-то новый, будто ящеричный мотив, стремительно-приземистый. Всякий мотив требует определения. Он вплетался бы в мой хорал, привнося нечто саркастическое, бесноватое и безудержное.

Секунду рассматриваем друг друга. Я не создан для вашей проклятой машинальности, каковой вы в излишестве насытили свой мир, его недра и отсеки. И еще... бездонны ли стилистические мои закрома? Нет, закрома мои не бездонны. Зато — приемисты и поместительны.

- Следователь Чанский, — сказал он. — Знаете этих двоих?
- Гольдфарбы, — сказала я.
- Леонид и Марго, — подтвердила Регина.
- Леонид Израилевич и Маргарита Владиславовна, — с некоторою запинкой уточнил я.
- Чем занимались? — спросил следователь.

- Он — композитор, — сказал я.
- Она — искусствовед, — добавила Регина.
- Бетховена знаю, — хмыкнул кто-то из следователевой свиты. — Чайковского знаю. Гольдфарба не знаю.
- Ты много чего не знаешь, — бросил тому Шутко.
- Внезапно произошло еще какое-то движение: вошли двое. Возможно, начальство; потому что Чанский вдруг отстранился от нас и устремился навстречу вошедшим — для приветствий и рукопожатий.
- Прокуратура не заставила себя ждать! — воскликнул он.
- А вы, я смотрю, прописались уже в этом доме! — отвечал главный из вошедших.
- Четвертый жмур за неделю, — развел руками Чанский.
- Их проще поджечь, чем все это распутывать.
- Так и запишем: прокуратура призывает к поджогам.
- Запиши! Ну, что у вас тут?
- Убитых двое. Семейство Гольдфарбов. Ей около пятидесяти, приколото острым предметом, типа шила, вчера днем.
- Орудие убийства найдено?
- Ищем. Он лет на десять старше, задушен.
- Чем душили?
- Руками. Следы пальцев на горле.

32.

Шило и вправду было найдено несколько минут спустя. Я этому отчего-то не удивился. Острый сей предмет с предосторожностями был водворен в прозрачный пакетик и долго после лежал на столе в числе некоторых иных предметов.

- На столе — опрокинутая бутылка коньяка и стопка, — монотонно говорил Шутко.
- Стопка одна? — спросил следователь прокуратуры.
- Одна.
- То есть пил один, или вторую стопку кто-то убрал.
- Возможно. На кухне, в раковине — гора грязной посуды.
- Отпечатки?
- Собрали, что смогли. Будем обрабатывать.
- Обрабатывайте.
- Еще — деревянная расческа, квитанции за электроэнергию, черные нитки, иголка, огрызок яблока на тарелке, грыз он, это я и без экспертизы скажу.
- Такой наблюдательный?
- Зубы приметные.
- Кто обнаружил трупы?
- Трупы обнаружил я, — твердо сказал Шутко.
- Разлет бровей. Удивление. Нынешнее чревато какой-нибудь новой пресловутой. Appetit приходит во время беды.
- Это — сюрприз, — сказал следователь прокуратуры.
- Встреча была запланирована, — терпеливо возразил Шутко. Пробковая покладистость. — Мы еще продолжаем заниматься недельной давности убийством их дочери. Опрос жильцов закончили, но возникли дополнительные соображения...
- Мы потом это обсудим, — был ответ.
- Можно и потом, — согласился Шутко.

33.

Все возможное и мыслимое лишь брошено в эту беспредельную прорву существования.

Взгляд начальственного типа из прокуратуры задержался на нас с Региною.

— Соседи? — спросил он то ли у окружающих, то ли у самого воздуха.

— Регина Злобина и Мирослав Неспалов, — отмахнулся Шутко.

— Тот самый? — спросил следователь прокуратуры.

— Что значит — «тот самый»? — удивленно покосился на него Чанский.

— Именно тот! — кивнул головою Шутко.

Все было как раз так! Но мне не поверят, если я объявлю что-то подобное. Я знаю, что не поверят. Я бы и сам себе не поверил. Как могло столько разнородного и противоречивого сгрудиться в одной точке? И чета Гольдфарбов, и эти их загадочные смерти, и я с моей постылой музыкой, чужая квартира, и сама атмосфера нелепости, все эти инспекторы и следователи, и этот прокурорский чин, отчего-то знающий меня. Меломана в нем предположить я не мог. Известность же моя... Да полно! Какой смысл себя обманывать! Что проку — себя надувать!

Тот подхватил стул и подсел ко мне близко-близко. Склонился предо мною и зашептал мне в ухо заговорщически:

— Дорогой Неспалов, могу себе представить, как вас все это мучает. Вы — человек тончайшей организации, талант! — и вдруг посреди этой грязи, посреди этой боли, этой нелепости. Вы — и какие-то там трупы! В голове не умещается!

— Ну, так и избавьте меня от этого! — вставил лишь я.

— А ведь даже я, представляете? Я — казенная душа, а и то знаю вашу музыку. Не в должном объеме, разумеется. Но все-таки знаю!

— Спасибо, — хмуро отвечивал я. — В последнее время слышу это все реже.

— Неудивительно! — воскликнул мой собеседник. — Мир сошел с ума. Вместо того чтобы слушать музыку, они убивают. Вместо этюдов и мазурок засовывают шило в карман и выходят на улицу. Творить свои безобразия. И после этого мы станем называть себя цивилизованным сообществом!

— Знаете, что-то мне теперь не слишком хочется философствовать, — сказал я.

— Да уж какая может быть философия над двумя едва остывшими трупами?!

— Не в том дело. Философия над трупами как раз очень даже может быть. Трупы — отличный стимул для философии. Просто у меня именно теперь нет для этого настроения.

Собеседник мой застыл на мгновение.

— Великолепно сказано! — воскликнул наконец он.

Восклицание его произвело во мне что-то вроде оскомины.

— Послушайте... — пробормотал я.

— Понимаю! — подхватил он. — Неверный тон! Фальшивая нота!

— Именно.

— Да, ну и как же два композитора — Неспалов и Гольдфарб — уживались в одном доме и на одной лестнице? Непросто было?

— Мы почти не общались!

— И стало быть, видели его в последний раз, — взгляд в сторону лежащего Гольдфарба, — давно?

— Вчера.

— Где?

— Днем на лестнице и вечером здесь, — сказал я.

— Вы были в квартире? — осторожно спросил следователь прокуратуры.

— Он позвал меня, когда я возвращался домой.

Все в гостиной замерли и уставились на меня. Моя дуда все же слишком безжалостна, чтобы я мог дудеть в нее с покорностью в сердце. *In vitro veritas*. С анилиновой бесцветностью.

— И когда же это было?

— Около половины одиннадцатого, — сказал я.

Все переглянулись. Или мне только показалось, будто переглянулись, я же словно летел с горы и не мог остановиться.

— Вот вам и третий, — присвистнул кто-то.

— Очень хороший третий!

— Просто замечательный третий!

— Лучше и не придумаешь!

Они обсуждали меня, это я был третьим. Хотел ли я, жаждал ли я такого внимания? Нет, такого внимания я не жаждал.

— Стало быть, вечером, около половины одиннадцатого, вы по приглашению вашего знакомого Леонида Гольдфарба были в этой квартире? — говорил следователь прокуратуры. — И видели труп его жены, не правда ли?

— Да. Он позвал меня, чтобы показать все это.

— Где вы встретились с Гольдфарбом?

— На моем этаже возле лифта.

— Он дожидался вас специально?

— Да.

— Но почему он позвал именно вас, если, как вы сами сказали, прежде вы почти не общались?

— Возможно, потому, что это было логическим продолжением нашей дневной встречи.

— На лестнице?

— На лестнице и еще на улице.

— И о чем же вы говорили?

— Черт побери, о чем? О жизни и о смерти.

— Это не конкретно.

— Еще мы говорили о деньгах и о беззаконии, о гневе и о катастрофе. О власти, о нервах, о сверчках, о громогласности! Этого довольно?

— Боюсь, вам придется подробно описать на бумаге эти оба ваших разговора, — сказал мой собеседник. — И чем скорее, тем лучше. Я дам вам свою визитку. Закончите — позвоните!

— Хорошо, — сказал я.

— Одних разговоров мало, — возразил Чанский.

— Да, мало, — подтвердил следователь прокуратуры. — Опишите ваши последние дни во всех подробностях.

— Самых мельчайших, — сказал Чанский.

— Я готов, — сказал я.

— И еще нам понадобятся ваши отпечатки пальцев, — сказал Шутко.

— Извольте.

— Ну и протокольчик бы подписать, как водится! — ухмыльнулся Чанский.

— Давайте!

Давно уж за собою не помнил я такой вот покладистости. Публичное животное в фазе отщепенчества. Быть может, впрочем, эта жизнь не стоит того, чтобы против нее даже серьезно бороться. Филигранная чрезмерность. Жар-птичье смирение. Лобная доля.

34.

Ольга дожидалась меня под дверью. Быть может, давно дожидалась и не решалась зайти. Рабыня и послушница Ольга. Или ослушница Ольга? Я ведь и сам из рода ослушников, я и сам из племени безрассудствующих, понурого племени, беспредельного племени. Боль-безнадежность. Настороженность. Неисполнение. Бессмертный приговор. <...>

Мы стали спускаться по лестнице.

— Что там было? — спросила Ольга.

— Убиты Гольдфарб и его жена.

— О, боже!

— Она заколота, он задушен, — с каким-то даже сладострастием добавил я. — Его я видел поздно вечером. Может, даже был последним, кто с ним говорил. При чем у него в квартире. Он сам затащил меня к себе.

— Но они же не могут думать на тебя?

— Не знаю, — снова пожал я плечами. — Пока мне велено записать все наши разговоры с Гольдфарбом и прочее, — я извлек из кармана визитку, сощурившись, всмотрелся в нее. — Следователь прокуратуры Игорь Скарбез.

— Скарбез, — повторила Ольга. — А кто там вообще был?

— Целая толпа! Какая-то непонятная помпа. Или, как у них называется, резонанс.

— Убийства повторяются. Их стало много — вот и помпа!

— А будет еще больше.

— Откуда ты знаешь?

— Так думал Гольдфарб.

— Его уже нет.

— Он предвидел, что его не будет.

— Может, это было обычное карканье, обыкновенный пессимизм!

Мы остановились перед дверью в мою квартиру. <...>

35–36.

<...>

37.

<...>

— Ольга! — крикнул я.

Что мне нужно было от Ольги, я и сам не знал. <...> И все-таки я звал на помощь ее. Она уже шла, я слышал ее шаги, но я слышал так же и другое. На улице, под моими окнами. Там были крики, там была ярость. Там были голоса, там было возмущение. И вдруг на мгновение все стихло, отчего я даже вздрогнул, поскольку не поверил. И правильно сделал, что не поверил: тут же зазвенело стекло. На пол, прямо подле моих ног, меж осколков стекла, упал тяжелый стальной болт.

38.

Ольга появилась на пороге. <...> Дохнуло холодом. Я тоже застыл, но потом бросился к окну и выглянул вниз. Там собралась небольшая толпа — человек двенадцать.

Верховодил ими... Сотников. Нынешний муж моей бывшей жены. Что-то нелепее этого и вообразить себе было невозможно. Толпа казалась озлобленной, взбужденной. Сотников, конечно, не мог швырнуть этот болт, он бы не попал, не столь уж он ловок! Значит, кидал кто-то из его подручных. Но откуда у него вообще какие-то подручные?

— Что там? — слабо воскликнула Ольга. <...>

— Вот! — воздев палец кверху, крикнул Сотников. — Видели лицемера? Подлеца? Смотрите! Неспалов! — он погрозил кулаком в сторону моего окна.

— Сотников! — пробормотал я, отшатнувшись. <...>

Я подхватил с пола болт, и, зажатый у меня в кулаке, он выглядел теперь вроде свинчатки.

— Вот! Вот! — размахивал руками Сотников. Маленький, обиженный, назойливый. Я этого уже не видел, только — слышал.<...>

Я взмахнул тяжелым стальным болтом в руке, совершенно произвольно, но, быть может, со стороны это выглядело угрожающе.

Я бросился бежать. Ольга посторонилась, когда я пронесся мимо нее. <...> В прихожей я схватил что-то из одежды, но не стал надевать, сделать это можно будет и на лестнице! на лестнице, где утверждается, где находит себя все одинокое, отчужденное и неукоренившееся. Где и я, быть может, когда-то найду себя, увижу себя, но уже не узнаю.

39.

День сей заключал в себе, кажется, что-то особенное. Все нелепое, все невозможное и неудобоваримое собралось в этом дне для угнетения человека, для их обескураживания. Будто все эпохи и все времена нарочно делегировали в день сей самое свое немыслимое и безобразное, с миру по нитке, по щепотке, по крохе.

Стремглав я выбежал на Моховую. Она теперь была, против обыкновения, жалка и привязчива. Гадкая сотниковская дюжина не претерпела никаких изменений. Двое молодцов тут же пошли на меня. И здесь... снова вдруг во мне вспыхнула моя симфония, тысячею адских фальшфейеров вспыхнула, некоторые из ее надсадных и пронзительных мотивов — нот вереница, звуки зловещие и нестерпимые. Звуки отчаянные и ликующие. Толчея немыслимого. Подспудная заваруха.

Оглушенный, напуганный, я отступил на пару шагов. Кажется, Ольга выглянула сверху на меня из окна, но в этом я не был уверен. Я скорчил гримасу презрительную, и молодцы могли меня вполне убивать, я бы не стал сопротивляться. Но тут вступил Сотников.

— Вот он! — почти даже ласково забормотал тот. — Блаженнейший наш! Теплый да приветливый! Видели вы такого?

— Виталя, что нам с ним?.. — заговорил кто-то из сотниковской свиты.

— Ты только скажи, — подтвердил другой.

— Мы не побоимся!

Тут я посмотрел на свою ладонь. В ней был зажат болт. Как я мог одеться и не выронить болта? Я совершенно не помнил, что было на лестнице.

При нынешнем невозможном устройстве жизни и мира до удивления немного в обликах двуногих видимой обреченности. И в них, в мучителях моих, также не было видимой обреченности. Оттого подобрался. Я всегда старался, чтобы чудо было от человека не далее чем на расстоянии вытянутой руки. Вытянутая же рука — вполне допустимо.

— Смотрите, что у него! — крикнул кто-то.

— Он угрожать нам решил!

— Да, ты не вздумай нам угрожать!

— Жену и дочь выбросил на улицу! — сказал Сотников. — А сам содержит любовниц.

— Содержит! — поддакнул кто-то. — И еще угрожает.

— Что ты несешь? — тихо сказал я. Ему одному сказал. С сотниковскими прихлебателями я говорить не хотел. Когда-то мир делается суммой суверенности и прихлебательства, сказал себе я. Прочие основания его истратятся, станут неуловимы.

Двое, пожалуй, были ученики Сотникова, но кто были остальные? Поручусь, что с музыкой у них нет ничего общего. Впрочем, к музыке и к прочим искусствам ныне прибилось немало всяческой сволочи. Нагорная отповедь.

— С любовницами-то приятнее и никаких обязанностей! — продолжилось, глумливое крещендо Сотникова. — А то, что жена и дочь без средств существования, его совершенно не беспокоит! Он ведь мировая знаменитость! Можно людей вообще не замечать!

Я отбросил болт в сторону. К чему он мне? Разве я могу запустить им кому-нибудь в голову? Или все-таки могу? А шило? Было ли со мной шило? Я старался нащупать его в кармане.

— Ты пьян! — крикнул я.

Но он не был пьян, и я знал, что он не пьян.

Наша возня привлекала внимание. К нам подходили случайные прохожие, пара старух, какой-то бородавчатый юнец, а от конца улицы шли в нашу сторону двое сарацин, и вид их не обещал ничего хорошего. И еще я поблизости увидел в толпе лицо... Ермакова... Этот-то здесь откуда?

— Вы-то про симфонию слышали! Он всеми правдами и неправдами добивался, чтобы договор заключили с ним. Ну вот заключили — а он отказывается! Для него — забава, для других — средство существования. Он теперь, видите ли, грянуть собрался!

— Я отдал деньги, — сказал я.

— Подачаки! Отделаться хочет! — крикнул Сотников.

— Издевается! — крикнул один из «апостолов».

Тут меня толкнули, я полетел на кого-то. Я был в ловушке, отсюда ни бежать нельзя, ни высвободиться. Но я и не хотел ни бежать, ни высвободиться. И тут сердце... сердце...

— Врежь ему! — крикнул кто-то. И действительно врезали. Нет, пока только толкнули.

Сарацины прибавили шаг. Ермаков ухмыльнулся. Но точно ли Ермаков ухмылялся? С чего бы ему ухмыляться? А Сотников? Этот-то не ухмылялся? Я снова полетел куда-то. Из последних сил стараюсь удержаться на ногах, я уж выхватывал из кармана шило. Удар в скулу и вспышка в глазах! Тут и мне наконец удалось размахнуться. Значит, это — конец? Видел я, как передергивали затвор, один из сарацин. Пепелящий и яростный взгляд. Исполнить, исполнить блистательную свою безвестность! — крикнул себе я. И тут вдруг воздух ни с того ни с сего с шумом стал проноситься мимо меня, всюю своей недвусмысленной массой, всюю своей неизмеримую плотностью, я пытался хватать его ртом, но мне не удавалось.

— Сотников! — шепнул я.

В глазах его гнездились тоска и озлобленность, и тут — выстрел, раскатистый выстрел: будто треснуло полотно. За ним другой, над нашими головами, в створе Моховой улицы, между крыш ее, проводов, окон, карнизов, между холодного воздуха, туч в небе, светомаскировки и взбесившихся на минуту желтоглазых пернатых. Нота си бессмысленно саднила в моей крови, одна только нота си, ненавистная

нота! Признаться, раньше я ее недооценивал. Сарацины, сотниковские адепты и прихлебатели схлестнулись вокруг меня, будто домочадцы у изголовья умирающего, я хотел было прикрыться рукою, но уже не успел и лишь, визжа гортанью, грудью, лодыжкой и мозжечком один гласный звук, не то «и-и-и!», не то «э-э-э!», а всего вероятнее — нечто среднее между теми, такое среднее, какое только возможно или даже и невозможно, упал навзничь.

40.

...Все же не быть *за*,
а также не быть *против*,
не быть небывалым,
тем более не быть обыденным,
но лишь избавляться,
от странной и глупой причуды,
от безобразной и вредной,
привычки —
играть слогами,
и окончаниями,
мыслить в рифму...

— Гришка, не знаю, откуда ты взялся, но если это правда, ты — слабо сказал я, — то я тебя умоляю не читать мне свои письмена!

После попробовал встать, но рухнул на спину. Как я здесь оказался? Окрест меня — гостиная моя и диван мой, я на диване, заботливо накрытый пледом, но будто переменялись все очертания, все направления, все пропорции, все предопределения.

А еще, быть может, сейчас встану или пошевельюсь, и стена набросится на меня, злобно, безжалостно и смертоносно, подумал я. Всего можно ждать от стены! Григорий, подлый Григорий, смехотворный Григорий сидел подле стола, прихлебывал чай и хрустел сухарем. И вот сквозь чай и сухарь, сквозь хруст и причмокиванье пробивались его куцые, малахольные стишочки.

— Очнулся? — сказал Ермаков.

— Я сам дошел? — спросил я. Я бы вообще, может, чуть более любил человека, если бы не возникающие непременно вокруг него обязанности взаимодействий. Приговор безнадежности. Четверть такта. *Rara avis*.

— Был взнесен на руках почитателями твоего бессмертного таланта, — с усмешкою возражал мне Григорий.

— Что-то не очень их разглядел там, на улице.

— Лежи-лежи, тебе пока не стоит вставать.

— Долго это было?

— «Скорая» приезжала. Ты под капельницей лежал.

— А где все?

— Кто это «все»?

— Ольга, — сказал я.

— Вернется твоя барышня! — усмехнулся Григорий. — Она у тебя — хлопотунья. Чаю, кстати, хочешь? Я всех выпроводил и вот позволил себе угоститься в награду за мое радение. Могу и тебе налить.

— Налей, — согласился я. Я был в испарине. Я все же решил представиться перед миром совершенно изможденным и измученным. Обессиленным и обесцвеченным. Засурдиненная совесть. Тишина и трепет. Противоречья.

Григорий сходил на кухню и через минуту принес мне стакан чая в подстаканнике. Быстро же он здесь освоился. Я кое-как сел на диване.

— Я нашел у тебя на кухне джин и позволил себе угоститься, — сказал он.

— Пускай, — сказал я.

— И шнапс тоже. Но совсем чуть-чуть. Хорошо у тебя здесь, — сказал Григорий. — Только холодно.

— Да.

— Ну и пусто как-то!

— Меня били? — спросил я.

— Били? — удивился Григорий. — Помилуй! Да кто бы на тебя посмел посягнуть?! Даже мизинец поднять на этакое-то достояние...

— Ты был там... Ты все видел?

— Ну, так в толпе-то всего не усмотришь, — уклонился Ермаков и захрустел сухарем пуще прежнего.

— А как ты вообще здесь оказался?

— Где это — здесь?

— На Моховой.

— Почему бы мне здесь не быть?

— Второй раз за два дня... — настаивал я. — Где ты вообще живешь, Гришка?

— Ну-ну-ну! Это у тебя болезненная реакция.

— Где ты живешь? — крикнул я.

— До твоих хором мне далеко, конечно, — усмехнулся тот. — У меня небольшая развалюшка за Исаакиевской площадью.

Почему-то я теперь посмотрел на него с отвращением. Я угрюмо склонился над стаканом с чаем. Чай был горяч.

— Знаешь, пока ты был... ха-ха! — при смерти, я обследовал твои хоромы и остался удовлетворен оными, — с прицепившеюся улыбочкой на лице бубнил Григорий. — А ты, кстати, обдумал мое предложение?

— Какое?

— Написать партию труб Страшного суда.

— Ты готов заказать у меня такую музыку?

— Бог готов у тебя ее заказать.

— А ты здесь каким боком втемяшился? Ты — посредник меж нами?

— Пора писать такую музыку! Приближение самого ужасного я чувствую кожей. Бог раздражен, Бог нервничает, Он в ярости! А ты смеешься!

— Не смеюсь. Но если бы смеялся, так только над тобой!

— А ты ведь и впрямь мерзавец, Неспалов! Ты, что, думаешь: все вокруг твоей симфонии вертится?

— Что? Какой симфонии?

— Той самой! О которой все говорят!

— Ермаков, ты ведь не композитор! Ты-то откуда?..

— А крутится все отнюдь не вокруг твоей симфонии.

— Вокруг чего же?

— Вокруг смертей. Всех убиенных и убивающих. А больше так, пожалуй, убивающих.

— Ага! — ожесточенно сказал я. — Ты чай-то себе наливаешь еще!

— А ты знаешь, что меня больше всего в тебе бесит?

— Что? — сказал я.

— Что ты продолжаешь жить полноценной жизнью.

— Это как это?

— Жены, любовницы, заказы, симфонии, звонки из-за границы, ангажементы...

— Главное — все во множественном числе, — язвительно говорил я.

— А хочешь знать, что сказал доктор из «скорой»?

— Не хочу.

— Он сказал: «Этот человек не так болен, как просто устал. Но вы следите за ним.

Когда он проснется, он будет много опаснее».

— Ты сам эту чушь выдумал, Гришка! — вскричал я.

— Да, конечно, — качнул головой тот. — Сам.

— Ладно, Григорий, — тихо сказал я. — Ты иди.

— А ты что делать будешь?

— Мне писать надо, — сказал я.

41.

Я хотел исхлестать свой мозг, исхлестать бойкою плеткой. Он слишком часто стал меня предавать, я теперь не могу на него положиться. Вознамерился помыслить — прежде навести свое негодование! Осторожно я сделал несколько шагов. Григорий наблюдал за мною недоверчиво. Мир как неволя и наблюдение. Берущее за бездушие. Четыре четвертых.

— Ты еще слишком слаб, — сказал он.

— Тебе-то что?! — бросил я.

— Ну, если ты так хочешь, я уйду, конечно. Вот сейчас только пописаю у тебя да пойду, — сказал Ермаков.

— Да.

Григорий со вздохом взял свой пустой стакан и начал вставать. *Sator Arepo tenet opera rotas*. Воздействие. Милитаризм.

— Посуду можешь не мыть, — сказал я.

Григорий вышел. Я настороженно прислушивался ко всем его перемещениям. Первым делом следовало осмотреть шило. Но где мое шило? На старом месте: в кармане куртки, не правда ли? Куртка моя валялась на стуле, неподалеку.

Почему — шило? Шило — мое выздоровление, мой утвердившийся разум, моя воспрянувшая суверенность или, наоборот, сумасшествие? Наш век не пригоден ни для чуда, ни для рассудка.

Я достал шило из кармана куртки, и первое, что я понял, засунув руку в карман: «ножны» разломаны. Значит ли это, что шило использовалось по назначению? Но разве я убийца, разве ж я маньяк? Я мог просто упасть и придавить эту хрупкую пластмасску.

Григорий мочился в уборной, я слышал это. Я же ошарашенно разглядывал свое несчастное орудие. Рукоятка подле иглы показалась мне бурой. Но точно ли то кровь? Не должна ли быть запекшаяся кровь еще более бурой и вещественной?

Музыкант-маньяк... маньяк-музыкант... и то и другое звучало одинаково забавно. Неужто же это я? А хотел бы я быть этим самым убийцею с расщепившимся сознанием, с двойственностью мира и смысла, с фальшивостью созерцания? Что ж, возможно, было бы даже любопытно! Маленькая тайна!

Стал возвращаться Григорий, я тут же засунул шило в карман куртки, а ее саму бросил на стул. О такой ли жизни я грезил в самом начале ее? О таком ли самоощущении? Нет, такие жизнь и самоощущение я себе даже не воображал, и тем труднее мне теперь примириться с ними. Тем гаже и недостоверней кажутся мне мизерные мои успехи, тем более жалкая слава моя представляется анекдотцем и насмешкою. Тем более мнится мне трубухой и отходами.

— Надо все же отчетливо осознавать, — сказал Григорий, входя, — что этот Бог — подлец! И при всяком прогнозировании, во всякой футурологии следует всегда принимать во внимание коэффициент подлости Бога.

— Что это ты вдруг? — неприязненно говорил я.

— И вовсе не вдруг, — возразил тот. — Просто... подумай: по трудам твоим, Неспалов, ты можешь еще произойти в главные люди мира и существования!

— Ага, — хладно сказал я.

— Надо, чтоб ты всегда о том помнил. Чтоб не затирали, не затапывали свое предназначение.

— Ага, — снова сказал я.

— Чтобы никакая оглядка на Бога, на совесть, даже на само существование не заставляла тебя о нем забывать.

— Григорий, ты все-таки иди, — сказал я. Пищикато рваной струны. Думаю о шиле. Мозг-эксцентрик. *Молитвствуя*.

Григорий молча вышел в прихожую и вернулся со своим черным пуховиком. Пока одевался, поглядывал на меня исподлобья. Я вознамерился выставить его, не смотря ни на что. Я и прежде не выносил никаких вмешательств в мою мистическую и заскорюзлую жизнь, в мое сверхъестественное бодрствование.

Я, быть может, милостью божию музыкант, демиург звуков, суверенный собира- тель, ныне вынужден предаваться моему до костей продирающему безразличию!

42.

Лязг ключа в замочной скважине входной двери в двадцати шагах от моих встре- воженных нервов. Дверь открывается, шаги в коридоре, теплые и телесные, Ольга, приязненно говорю себе я, через мгновение в гостиную и впрямь входит Ольга.

Она головою поводит, что-то особенное есть в этом движении, что-то нестер- пимое и что-то трогательное. Мастер неуязвимости. Не вдаваясь в подробности.

— Как? — беззвучно спрашивает она у меня и у Григория.

— Передаю тебе его, если не в здравии, то хотя бы в неповрежденности, — захо- дится тот в шутовском поклоне.

— Григорий уже уходит, — говорю я.

— Он чай пил? — еще спросила Ольга.

— Именно с его чая и началось мое возрождение к жизни, — сказал я.

— Мерзавцы, — молвил Григорий.

— А мы тебе и не обещали быть кем-то другими, — сказала Ольга.

Григорий давно одет, но все стоит и стоит, будто ожидая, чтобы мы пригласи- ли его остаться. Собственно, он не так плох, или он даже вовсе не плох и иной раз может для чего-то и пригодиться, говорю себе я.

— Неспалов, что, по-твоему, есть писательство? — вдруг спрашивает он.

— Ответь ему что-нибудь, — прошу я Ольгу.

— Способность быть миру добрым собеседником, — почти не раздумывая, отве- чает та.

— Ты так считаешь? — говорит Ермаков.

— Почему ты спросил? — спрашивает Ольга.

Внезапно что-то происходит, я знаю уж, что Григорий не успеет ответить, по- тому что будет звонок, я хочу сказать ему, чтобы он не старался отвечать, не стоит даже раскрывать рот или вдыхать воздух, но тоже не успеваю сказать этого. Потому что мы слышим звонок в дверь.

— Лиза, — говорю я.

— Мне открыть? — спрашивает Ольга.

Я еще слаб, но иду открывать сам. Русский смысл ныне следует собирать по крупицам. Немного, вовсе немного теперь осталось его, и тот даже, что есть, пребывает в умалении и рассеянии. Красота не нужна человекам, говорю себе я! Решено: отныне начинаю портить свой стиль.

Боже, яви мне чудо, настоящее чудо, чтобы я поверил, что Тебя нет!

За дверью стоит Лиза. Она звонит еще два раза, пока я иду. Почему-то ничему не удивляюсь, но почему-то и ничему не безразличен. Какая-то тонкая средняя линия. Мир — сонмище изнурительных даров и нелогичных обстоятельств.

— Я войду? — спрашивает она, едва меня не отталкивая.

— Я не один, — отвечаю на то. Лиза устремляется в гостиную, я плетусь за ней следом, и когда дохожу до порога, Лиза уж стоит посреди оной и попеременно разглядывает то Ольгу, то Григория.

— Уйти? — спокойно говорит Ольга.

— Остаться, — успеваю сказать я.

Лиза тут же говорит: «Разумеется». Одному из нас двоих говорит это.

Ольга делает движение уходить, но я останавливаю ее взглядом. Григорий застыл подле окна, он ленив и любопытен, он, кажется, несколько рад, что про него будто бы даже забыли.

Открывая рот, Лиза еще дергает плечом в каком-то картинном возмущении, с какою-то графической яростью. Подпочвенное.

— Ты не должен! — восклицает она. — Слышишь? Не должен!

— Что?

— Не должен этому верить!

— Чему верить?

— Ничему!

— Я и так ничему и не верю.

— Хватит острить! — это уже крик. — Я про Сотникова!

— Про...

— Прекрати сейчас же! У тебя нет никаких оснований! Ты не имеешь права! Зачем бы ему брать эти чертовы деньги?! Он получил аванс! Ты думаешь, тебя одного ценят? Нет, есть и другие! А ты только и можешь изображать уникальность перед своими легковверными приятелями и доступными девками! Сотников же — добрее, простодушнее! Наивнее! Да, наивнее! Но его тоже оценили, его тоже приняли! Ольга, — крикнула Лиза, — Неспалов тебе показывал свою симфонию? Ты помнишь ее?

— Нет, — тихо сказала Ольга.

— Ты врешь, тварь! Он все тебе показывает! Сотников мне тоже показывал. Фрагменты! Он мучился, у него не получалось! Вернее, получалось! В какие-то особенные минуты озарений. Это было достойно! Это было убедительно! Это была уже почти готовая симфония! В черновиках. Я гордилась, я восхищалась им. Но вот он вдруг исчез...

— Виталик исчез? — всунулся Ермаков.

— Да, исчез! — загремела Лиза. — Я тут же хватилась денег, сама не знаю, почему я про них подумала. Денег тоже не было. Всех денег не стало! Он не мог! Для чего бы ему?! В сущности, к деньгам он всегда был равнодушен. К деньгам, к почестям, к аплодисментам...

— Не совсем понимаю, что значит исчез, — сказал Гришка. — Он еще днем был здесь, на Моховой, под этими самыми окнами.

— А я говорю, что исчез! — крикнула Лиза. — Где он? Куда делся? Что вообще происходит в этом чертовом городе?!

— Здесь много всякого происходит, — кротко сказал я.

— Это ты! — закричала Лиза. — Это из-за тебя! А вы все!.. Неужто меж вас нет мужчин, людей достойных, чтобы его избить, высечь, задушить, запугать?!

— Кого? — испуганно спросил Григорий.

— Не-спа-ло-ва! — громко говорила Лиза. — Неужто никто из вас не может заставить его написать наконец эту его проклятую симфонию, чтобы остановить все это?! Чтобы прекратить! Чтобы спастись нам всем! Еще раз тебя спрашиваю, — сказала Лиза, — он показывал тебе наброски? Ты помнишь их? Ты все помнишь?

— Да, — тихо сказала Ольга.

— Ты должна записать их!

— Нет, — тихо сказала Ольга.

— Ты должна употребить все свое влияние на него, чтобы он дописал начатое. Незамедлительно! — отчетливо проговорила Лиза.

— У меня нет никакого влияния на него, — сказала Ольга.

— Можно мне умереть спокойно? — тихо сказал я.

— Нельзя! — крикнула Лиза.

— Идите сюда, — сказал вдруг Григорий, стоявший все это время подле окна. — Вам стоит на это взглянуть.

Мы все устремились к окну. Вернее, к окнам: Ольга и Лиза, будто две давние подруги, отогнув одеяло, которым завешено было окно слева, выглядывали на улицу. Мы с Григорием выглядывали в правое, что сегодня разбили болтом.

43.

Моховая не широка. Даже я, с моим не слишком отчетливым зрением, могу разглядеть, что делается на другой ее стороне. Возможно, за то следовало бы отринуть слабейший из моих глаз. На улице стемнело, день ныне короток. Хлопья снега кружились в лучах одинокого уличного фонаря. В доме напротив горело не так уж много окон, но окно в точности как раз против моего было освещено. У окна стоял человек и смотрел на меня. Смотрел с какою-то, кажется, печальной укоризной. По-другому не обозначить.

Я сразу его узнал. Это был Альфонс Янович Худбин. Кто из моих нынешних пришельцев — Ольга, Лиза, Григорий — знал Худбина, я о том не задумывался. Его знал я. Мой смысл не для всяких племен, мой язык не для всяких народов. Напалмовая насмешливость.

Сколько мы разглядывали друг друга? Минуты три, никак не менее. Худбин вдруг медленно погрозил мне пальцем. Я едва не расхохотался. Но все же не расхохотался, а застрял лишь на одной из ступеней недоумения. Недоумение же мое было особенное, будто бы даже на грани тоски. Я бытие свое не меняю, я не способен его изменить, я и дотронуться-то до него не могу, мне даже коснуться его невозможно, я лишь могу взирать на него с ужасом и отвращением.

— Что это? — с брюзгливостью говорила Лиза.

— Лучше спросить, что он здесь делает, — сказала Ольга.

Ольга и Лиза — они стояли, едва не обнявшись. Обе держали отогнутое одеяло, промозглое и пыльное одеяло.

— Ну и как вам картинка? — усмехнулся Григорий.

Сзади к Худбину кто-то приблизился, но этого человека я разглядеть уж не мог. Была только одна его рука. Она тронула Альфонса Яновича за плечо, тот не шелохнулся и все глядел на меня укоризненно.

— Это возмутительно! — отрезала Лиза. Впрочем, не сдвинувшись с места. — Не понимаю, зачем мы на это смотрим.

— Действительно, ужасно, — согласилась с ней Ольга.

— Как будто подглядываем.

— И он за нами как будто подглядывает, — сказала Ольга.

— Надо просто отойти от окна, — сказала Лиза.

— Да, — сказала Ольга.

Тут за спиной у Худбина появились вдруг двое человечков, они словно пытались что-то объяснить Альфонсу. Потом человечки, кажется, потеряв терпение, схватили его за плечи и потащили в глубь комнаты. Кто они были? Два напористых и заскорузлых человечка, с петушьими повадками, какая-то казенная сволочь... Человечки утащили упиравшегося Худбина, потом там погас свет.

— Ну, больше здесь ничего показывать не станут? — сказал Григорий.

— Вы его знаете? — спросил я.

— Да, — сказала Ольга.

— Да, — сказала Лиза.

— В последнее время твои обстоятельства делаются известными всему городу, — сказал Ермаков.

В это мгновение в дверь позвонили, резко, требовательно, сразу несколькими звонками, и еще через мгновение заколотили, забарабанили кулаками. Все посмотрели на меня. Отчего-то я стал надевать куртку, будто бы собирался на улицу; Ольга хотела было идти открывать, но я помотал головой, и она остановилась. Шило, мое проклятое шило, было спрятано в кармане, но с незащищенным острием. Это меня беспокоило.

— Ты кого-то ждешь? — нетерпеливо спросила Лиза.

Я не отвечал, но лишь медленно поплелся по коридору открывать дверь. Трое пришельцев моих потянулись за мной.

Звонок, он был каким-то необычным, так никто из «своих» не звонит. Да и есть ли у меня эти самые — «свои»? Я и себя-то ныне все более числю по разряду посторонних. Отчаянных, инородных...

Итак, это чужой, но в его звонках мне чудилось некое знание о происходящем в этой квартире, в этой (то есть — моей) жизни. Знание отчасти должностное, отчасти по душевной склонности. Стало быть, это чужой, старающийся прибиться к клану своих, чужой, втирающийся в приязнь, чужой, грезящий о свойскости...

— Водопроводчик, — сказал я, берясь за дверную ручку.

Подтвердилось.

За дверью и вправду стоял один из двух вчерашних «водопроводчиков». Я стал понимать слова Гольдфарба, я почти готов был согласиться с его правотой. «Водопроводчик» же казался встревоженным, мы все, вчетвером сгрудившиеся подле двери, разглядывали его.

— Что? — спросил я.

— Там кое-что произошло, — сказал гость. — Пойдемте.

Мне уж не надо было одеваться, прочие поспешно оделись. Я же топтался у порога. Острие шила могло проткнуть куртку и высунуться наружу, меня это немного беспокоило, я засунул руку в карман, ссутулился и все время, пока мы шли, придерживал мое оружие.

— Вы хоть можете сказать, что там стряслось? — раздраженно говорила Лиза, когда мы очутились на Моховой и потянулись в сторону Пантелеймоновской.

— Мне велели только позвать вас, — отмахнулся «водопроводчик». — Сами увидите.

— Да, — сказал я.

- Вам не следует удивляться, что послали именно меня.
- Я не удивляюсь, — сказал я.
- А некоторые сомневаются... — говорил еще тот.
- В чем? — спросил я.
- В том, что мы — водопроводчики...
- Я тоже сомневаюсь, — сказал я.
- Но вода в доме течет? — спросил тот.
- Пожалуй, да. Впрочем, не все время.
- А не будь нас, могла бы и совсем не течь, — говорил наш провожатый.

Я не нашел, что возразить на такое.

Ольга молчала, а Григорий будто бы даже что-то напевал по дороге. Что-то бессмысленное, нераспознаваемое, тихое.

44.

В Пантелеймоновской давно нет никакого движения; здесь разрушены два дома. Кирпичными горами завалена проезжая часть. К одной из таких гурд нас и вел наш «водопроводчик», подле нее стояла небольшая толпа. Моя недавняя немощь рассеялась, и я теперь шагал впереди всех своею походкой ехидны. Прожектор освещал битый кирпич, дымился поодаль небольшой костерок, вся картинка выходила фантастическою.

Толпу мы стали обходить стороной, на кирпичах навзничь лежал человек с лицом, залитым кровью, — Сотников. Примириться, примириться вдруг с миром какою-нибудь из внезапных безболезненностей, сказал себе я. Мозг полон приблизительности, всякий мозг, сказал себе я.

Лиза вдруг коротко вскрикнула, вырвалась вперед, оттолкнула меня и бросилась на труп. На грудь его бросилась, каковая тоже была в крови. Что-то картинное, звонкое, сценическое было в этом внезапном движении. Будто неверный тон. Кафедра безутешности. *Allegretto furioso*. Мимходом.

Толпа взбудоражилась. Это падение Лизы, похоже, не понравилось никому. Время наше таково, что ныне легко впасть в кумирство или в беззастенчивость. Пафос же не безопасен. Шесть четвертых. *La Chute*. Натянутые сравнения.

- Нельзя, слезьте с трупа! — воскликнул кто-то.
- Ишь ты! Пришла и — сразу бросается!
- Жена небось!
- Или любовница!
- Такого защищать!
- Совсем стыд потеряли!
- Сволочная интеллигенция!
- Нет, это здесь ни при чем!
- Очень даже при чем!
- Сволочей везде хватает...
- Хватает, да не таких!

Лиза некрасиво вздрагивала, одними плечами, по-видимому, это следовало принимать за рыдания. Как бы я теперь вел себя, будь я Лизою? — сказал я себе. Наверное, все-таки не так. Впрочем, Лизой я быть не могу.

- Встаньте! — говорили еще Лизе.
- Оставьте ее! — глухо говорил я.
- А это еще что за защитник?! — сказал кто-то.
- Пакость защищают!

— Какую еще пакость?

— Это Неспалов, — сказал кто-то.

— Неспалов? — тут же протянули с удивлением. Или, быть может, с издевкой. Удивление и издевка пребывают в ближайшем родстве.

— Ему тоже бы врезать! — сказали еще.

— Это лишнее...

— Врезать — лишним не бывает!

Ольга стала поднимать Лизу, и — удивительно! — та подчинилась. Обе они застыли, обнявшись. Лиза и Ольга стояли, перемазанные одной кровью, одною штукатуркой и кирпичною пылью. Они словно соединились, сплотились этою нечистотой.

— А это что еще за девица? — спросил кто-то.

— У них много девиц.

— А некоторые еще мальчиков любят...

— Это не имеет отношения...

Кто-то подошел сзади. Воробьиная настороженность. Затакт.

— Знаете его? — спросили меня.

— Да, это — Сотников, — подавленно отвечал я.

Я подумал о том, кто меня спрашивал. Лицо я узнал не сразу (оно не было освещено), сразу узнал голос.

— Чанский, — сказал я.

— К вашим услугам, — отвечал тот.

— Нет, знаете! — запротестовал вдруг Григорий. — В последние два часа мы с Неспаловым были неразлучны. К тому же он был болен. Он и сейчас болен. Так что какие могут быть *услуги*!?

— Ну, на сей раз в подозреваемых я как раз не нуждаюсь, — возразил Чанский. — Сейчас-то все вполне очевидно.

— Да? — глуповато переспросил Ермаков.

У Чанского, я заметил, беспрестанно оттопыривалась нижняя губа, будто бы у бурого медведя. Вот и теперь она была оттопырена. Тут вдруг и наш «водопроводчик» с фразочкой подвернулся.

— Расходиться бы лучше, — обеспокоенно сказал он. — Здесь стоять — так только сарацин приманивать.

— Мы при исполнении, Саша, — возразил Чанский.

Тот согласно кивнул головой и исчез.

Луч прожектора сновал туда-сюда. Вот он выхватил группку людей в стороне от толпы. Взбудораженных, среди которых был человек вида пролетарского, заурядного, незапоминающегося. Немного нетрезвый, с разбитою скулой и в пальто, затертом здешнею штукатуркой. Двое повели этого человека к нам.

— Ну, давай, — сказал человеку Чанский, — давай, Тимофеич, рассказывай!

— Мальчика... моего... — промедлив, начал тот, — «скорая» увезла. Весь в крови, и глаза в крови, но, доктор сказал, жить будет... Рука у *того* дрогнула! Это уж потом ребята мои сказали... мол, доктор сказал...

— Ты давай тут не про доктора! — прикрикнул Чанский.

— Старуха-то моя велела Димочке нашему за хлебом сходить. Другой бы спорил, а он у нас безответный: велели — оделся да и пошел. Десять минут его нет, пятнадцать — нет. Мать переполошилась и мне говорит: иди сыночка встречай. Я и пошел. По дороге ребят встретил, они пиво несли. Пригласили, значит. Ну, мы на лестнице сели да по пиву, так сказать... И только по второму разу пригубили, вдруг внизу дверь хлопнула. Я тут же: «Димка, ты, что ли?» И тут... визг! Такой... от него кровь стынет! Мы вскочили с ребятами, да вниз! Смотрим, там

Димочка лежит, весь скрючился, за грудь держится да головой об стену бьется. Судорожно так. Мы на улицу — а там этот бежит! Назад озирается. Один из ребят за старухой моей побегал. А мы за этим! Он так бежит себе и кричит: «Что? Что?» Раньше надо было думать: «Что?» Гаденыш! Он за угол, и мы за угол! Он бы, может, и убежал, да об кирпич запнулся, упал да, видать, ногу подвернул. С подвернутой ногой далеко не убежишь!

— Кирпичи! Кровь! — глухо повторяла Лиза.

— Он так вскочил, ощерился и давай на нас шилом махать! Я в него кирпич бросил, и ребята тоже по кирпичу, так мы его кирпичами и забили!

— А ребята-то где? — спрашивал Чанский.

— Убегли ребята мои! Ты, говорят, отец, тебе ничего не будет! А мы — люди посторонние! Нас привлечь могут! Тут уж и старуха моя прибежала, хотела со «скорой» вместе ехать, да только ее не взяли! Места, мол, нет!

— Ты опять про докторов начал?! — озлился Чанский.

— Я так просто! — смутился Тимофеич.

— И то, что ты — отец, тебя никак не оправдывает!

— Я понимаю! Я и ребятам сказал то же...

— Ты уж ребятами своими забодал, понял?! — огрызнулся следователь.

— Не мог! Не мог! — повторяла Лиза.

— Что? — тихо спросила Ольга.

— Не мог этого Сотников! Не мог! Он ничего не мог такого! Он вообще ничего не мог!

— Хорошо-хорошо! — сказала Ольга. Сестра снисходительности. Статуарные. Зерна и плевелы.

— Очень даже мог! — решительно отрезал Чанский. — Все могут!

Толпа тут стала немного напирать на нас. Я думал, я сегодня буду один, я думал, я буду сумерничать, я думал, я буду таинствовать. А вместо того погряз в стадной жизни, вместо того окунулся в постылое, угодил в сиюминутное и бесцельное.

— Ну-ка разошлись, разошлись! — громко говорил Чанский. — Здесь вам не бардак, здесь — расследование!

— Знаем мы такие расследования, — сказал кто-то.

— Самого бы сейчас за шкварник да проверить, кто таков есть!

Чанский на то лишь усмехнулся, он был спокоен. Но губа его теперь оттопырилась сызнова, как-то так даже до неприличия. Меня знобило. Что-то в рассказе Тимофеича не сходилось, что-то не склеивалось, будто бы в плохом спектакле. Но я потерял нить. И вовсе не собирался ее искать. Пес бродячий, с мерзкою драною шерстью, пробежал близ человеческой толпы по одной из своих заурядных надобностей. Григорий под нос себе шептал что-то, быть может, новые вирши, этого я разобрать не мог. Григорий часто шепчет свои несуразные, нелегитимные вирши. Я смотрел и на пса, и на Григория, и на мелькающие световые следы прожектора, и на стены домов, и на Лизу с Ольгой, на Чанского же я смотреть избегал.

— Меня, что, посадят? — хмуро говорил Тимофеич.

— Нет, орден дадут, — отмахнулся Чанский.

— Им, значит, убивать можно, а нам обороняться нельзя?

— Да, ты уж здесь наоборонялся! Дальше ехать некуда! — говорил следователь.

Все это должно теперь перемениться, сказал себе я, я не знал, как именно оно могло перемениться, но уж далее так продолжаться не могло ни минуты. Я бы, возможно, завыл, заорал, если бы все было в прежнем духе, упал в обморок или сошел с ума, я ожесточился теперь буквально до бешенства. Жемчуг сознательности. Простая природа.

— Я должен еще оставаться здесь? — едва разжимая зубы, спросил я у Чанского.

— Должны.

Со стороны Литейного подъехал санитарный фургон, почти без окон, с широкими колесами и низкой посадкой; в народе такой транспорт называют «труповозками». Лязгнула дверь, из фургона вышли трое в синих халатах. Гадливо и настороженно озираясь, они приблизились к нам. Кривоногие, как черепахи. Постояли немного, труп они не разглядывали, разглядывали толпу. Что им за дело было до трупа?! Трупом их не удивишь!

— Можно забирать? — спросил один из них у Чанского.

— А что на него смотреть? — отвечивал тот. — Уже не оживет.

— Я с ним поеду! — сказала Лиза.

— Вот еще! — возразил один из «синих халатов». — Живых на других машинах возят.

— Пусть она едет тоже, — тихо сказал я, стоя с головою полуопущенной. Я думал, меня оборвут, одернут, но меня никто не одернул, лишь переглянулись между собой; бесцеремонная троица. Группа задержки.

— Куда вы его? — спросил Чанский.

— В Большой драматический, — сказал «синий халат».

— У вас и морг там?

— Морг рядом — в типографии.

— Ладно, — сказал Чанский. — Вдову возьмите с собой.

Почему-то слова его возымели действие. Давно я не слышал слов, имеющих действие; обычно слова не такие.

— Так и быть, мадам, — усмехнулся старший из санитаров. — Поедьте. В неприятнейшей, можно сказать, компании.

— Может, мне с тобой поехать? — тихо предложила Ольга.

— Я сама, — ответила Лиза. — Это — мое.

— Трубы, — бормотал Григорий. — Я говорил... Трубы Страшного суда... Все в них, все в трубах! Неспалов, ты дашь мне на пиво?

— И не подумаю, — сказал я.

— Черт тебя возьми, мне нужно пиво! — сказал еще Ердаков. — Я вовсе не алкоголик, но пиво мне теперь нужно.

Сотникова уж возложили на носилки, накрыли какую-то вздорную тряпкой, вроде брезента, Лиза все подтыкала ее в ногах Сотникова, и понесли, понесли. К машине, оставленной за кирпичною кучей. И Лиза — сзади; от ее одинокой фигуры у меня заныло в груди, но это было лишь мгновение. И мгновение это было нелепым, недвижимым и будто заплывшим жиром. Давно уж не ставлю пред собою задач триумфальных, и, в сущности, ныне важнейшая из забот моих — достойная утилизация жизни. Воля-к-содроганию. Хор расстроенных нервов. Ад — это человек. Исключительность.

— А где Саша? — спросил у кого-то Чанский, ему не ответили, и он ответил себе сам: — Нет Саши.

— Ты домой? — спросила меня Ольга.

Я взглянул на нее с недоумением.

— Домой? — повторила Ольга.

Я хотел спросить у нее, что такое дом, слово не было длинным или сложным, но сейчас я не мог осознать его смысла. Губы Ольги стали размыкаться, чтобы задать тот же вопрос в третий раз, но тут уж ко мне подходили сзади... человек, которого я почти успел угадать спиной...

— Вы уже написали, Неспалов? — спросил тот.

— Что написал? — сказал я, вмиг повернувшись на пятках.

Предо мною стоял инспектор Шутко и руку держал козырьком подле глаз, прикрывая те от света прожектора.

— Вас сегодня просили написать кое-что, — укоризненно покачал он головой. — Забыли?

На мгновение я подумал о симфонии, но подумал ошибочно. Что-то стало всплывать, я уж почти вспомнил. Да, отчет; я обещал кому-то изложить все произошедшее со мной на бумаге, я только не мог вспомнить — кому. Шутко смотрел на меня и будто читал мои мысли.

Ныне меня никто не собирается пускать в свою жизнь, так, чтобы нам с ним срастись нашими корнями, духом, нервами, созерцаниями, смыслами, лихорадками, неуверенностями. Так же и я не пускаю никого в свою жизнь, на сходных основаниях. Быть может, это и называется миром. Мир — тотальная разрозненность, мир — всеобщая подозрительность, мир — великое небытие и неудовлетворенность.

— Да-да... — осторожно сказал я. — Этот... как его... Скарбез...

— Но только обязательно очень подробно, — сказал мне Шутко. — Где, когда, с кем, о чем... ну, и так далее!

— Я сделаю это, — сказал я.

— Хорошо, — ответил инспектор.

Я смотрел на него почти с отвращением и старался не думать про шило. В кармане моем лежавшее. Прямо под моею рукой.

45.

И снова был шнапс и сок лимона. Я сидел в кресле на кухне; надел на себя кофту грубой вязки, набросил на плечи плед, но все равно толком не мог согреться. И спиртное не помогало; я опьянел, но не согрелся. Идея сна должна созреть; моя же теперь даже не успела проклюнуться. Лингвистический променад. Сартрово пу-стословие. Держаться ли мне теперь за тихий алкоголизм мой? За робкую мою мизантропию? Стоит ли писать какую-то музыку в надежде, что мир окажется добр или снисходителен к моим несчастным каракулькам?! Я не люблю человек, и вот уж изрядно их вокруг меня пало по причине единственной моей нелюбви. Стоит ли перечислять?

Я уж почти убил свой ум, осталось совсем немного: расправиться так же с талантом. Это немного сложнее, но у меня должно получиться. Следовало бы, пожалуй, попробовать прямо теперь. Я стал пробовать это разлетом бровей, трепетом ресниц, игрою скул и желваков на них.

Вот я вздрогнул и голову поднял во внезапном и бессребренном своем полузабвении. Ныне возможная гибель моя уж никак не будет безвременной, при том количестве мысли и звуков, что породил я мгновенными своими изобретательностью и причудливым духом. Теперь уж я превзошел и отверг все скоропостижности и оборванные биографии. Мир мой — погост и изгнаничество. Стерто. Осмеяно.

В кухню вошла Ольга, и я снова вздрогнул. На душе моей была лишь тоска цвета электричества. Предо мною стоял включенный складной компьютер, я что-то собирался писать... что я собирался писать? — об этом должна меня спросить Ольга. Я знал, что она спросит, я многое о ней знаю.

Я старался с постели встать так, чтобы ее не разбудить, я ее и не разбудил. Она встала сама.

— Холодно, — сказала она.

— Да.

Она подошла ближе, прислонилась к моему плечу, я это выдержал, я это принял, я с этим согласился.

— Ты давно встал? — спросила она.

— Давно, — терпеливо сказал я.

— Все то же? — спросила она.

— Все то же, — сказал я.

Про «все то же» я пытался когда-то ей объяснить, сбивчиво, бестолково, невразумительно; «все то же» описано и в литературе, поминается во многих дневниках знаменитостей. В сущности, здесь нет ничего оригинального, это переживают миллионы. Но когда именно тебе не хватает воздуха, именно ты не можешь найти себе положения, именно твоя грудь страдает невозможностью ее дальнейшего расширения, тут уж нужны какие-то особые методы, какое-то чрезвычайное презрение к своей жизни, вот я и старался отыскивать такое презрение, я и старался строить его, укладывать его основания, возводить его стены, громоздить его стропила, водружать его кровли, коньки и купола. Но получалось отнюдь не всегда. Ночь — предательница! Следует вообще опасаться ночи! День, конечно, тоже себе на уме, но ночь лжива и беззастенчива, ночь сразу берет за горло и выматывает душу, ночь ввергает в иступления и отчаяния. У ночи особый состав, особенное предназначение и чрезвычайный градус. Она губит и топчет, она богатыря превращает в мразь, в слизь, в слякоть, в отходы. Что уж тогда говорить о простых индивидуумах! Впрочем, простым, быть может, как всегда проще. Простых есть царствие небесное, простых есть юдоль земная, повседневная, обыденная. Я тоже всегда стремился сделаться простым, но у меня никогда не выходило.

— А ты что? — спросил я.

— Воды хочу.

Я исторг из себя какое-то междометие, Ольга отстранилась, налила из чайника воду, стала пить. Я наблюдал за этим утолением жажды. Я наблюдал с обратной пристальностью. Бесцветное действие. Женщина и вода. Миротворство. Упорядоченность.

— Что ты пишешь? — наконец-то спросила она.

— Только собираюсь, — сказал я. — Отчет.

— Это то, что тебя попросили сделать вчера? — еще спросила Ольга.

— Разве это было вчера? — удивился я.

— Ты придешь?

— Позже, — сказал я. — Не знаю. Писать стану.

— Приходи, — сказала Ольга.

— Да.

Ольга вышла. Я посмотрел на голубые огни конфорок, газ сгорал, ворча и подрагивая. Я придвинул компьютер поближе, размял пальцы, хрустнул суставами, будто бы собирался на рояле играть что-то виртуозное, невообразимое и величественное, подумал мгновение и начал писать.

46.

Я обречен на то, чтобы жизнь моя не состоялась, чтобы судьба моя замерла. Я обречен на самую обреченность. Только так, никак иначе; что-то меньшее будет не просто недостаточным, оно будет лживым, оно будет лукавым. Значит ли это, что я не лукавлю теперь, да и всегда? Нет-нет, лукавство гордо гнездится в моем арсенале, оно, быть может, и вообще — господин души моей, акустической души моей; но если теперь, взирая с высоты прожитых лет и превзойденных обстоятельств,

я думаю о своей обреченности, значит, по-видимому, это и есть едва ли не единственное из позитивных моих достояний. Sic!

Что ж, мне теперь следует понять, как оказался я в нынешнем моем положении. И писать мне следует именно о том, ничего не скрывая, нимало не лукавя, ни пред собой, ни пред бумагой, ни пред казенными моими попечителями. Впрочем, истребители они, а никак не попечители, истребители духа моего, смысла, сознания и благополучного тонуса. В сердце моем есть темный угол, где лишь — брань, негодование, дух недобрый да кровь порченная.

Итак, два происшествия, одновременно обрушившихся на меня, не дававших мне опомниться. Во-первых, симфония, заказанная у меня при обстоятельствах странных. Худбин. И, во-вторых, еще эти загадочные убийства, уголовный розыск, острые предметы, шило в кармане моей куртки (я не стану утаивать и его), новые люди: Шутко, Чанский с оттопыренной его губой, Скарбез. И еще «водопроводчики», и Григорий с Сотниковым...

Меньше рассуждай, больше записывай!..

Возвращаясь к пункту один... Что же важного в симфонии? Мало ли написано музыки, в том числе и великой?! Предположим, я бы все же стал писать, и вышло что-то грандиозное. Причина ль это для трупов, для убийств? Для волнений Худбина, для истерик Сотникова, для странных осведомленностей Лазаря Бета (то бишь — Григория), Гольдфарба и всех прочих. Нет, здесь дело в чем-то другом. И что все-таки мне делать с этим: «...судьбы страны и человека, отраженные средствами музыкально-драматического языка в наше трагическое и величественное время». Какие судьбы страны? Какие судьбы человека? Что здесь за интрига? Интрига, в которую замешано и само государство, и его первые лица, никак не меньше, если верить намекам Альфонса. А я вовсе не склонен ему не доверять. Альфонс!

Быть может, я должен угадать даже не то, что от меня ожидают, но — некоторое странное и немыслимое событие, что, в свою очередь, должно еще произойти, и моя музыка тогда могла бы быть обрамлением оногo. Она могла бы быть основанием его, вдруг подумал я. Возможно, я и призван для того, чтобы дать такое основание. Возможно, нашим сильным мира сего необходимы такая поддержка, такое подкрепление.

Ныне же мне нужно, да, мне нужно испещрить буквами никак не менее двадцати бумажных листов. Дабы соблюсти должную меру подробности, как я понимаю теперь оную.

Черт знает в чем я, к примеру, подозреваю Шутко. Хотя в целом он мил, по-своему обаятелен, и ему, наверное, во многом можно довериться. А водопроводчики? Нет, здесь пока больше вопросов, чем выводов.

Из моего положения не существует никакого разумного выхода, обыденное же для меня слишком нестерпимо.

Человек есть симулякр. И жизнь есть симулякр. И все божественное есть череда симулякров, вереницы обманок, пугал и жупелов. Миру и поделом! Следует поразборчивей быть в поиске костылей, протезов, подпорок, арматур, молитв и иных заклинаний.

Немного спугали мои карты Гольдфарбы, муж с женою, нет, не они сами, а только их внезапные смерти. Черт побери, они не имели права погибать так внезапно! Столь внезапно, что в смертях их не успело образоваться ничего поучительного. Ничего назидательного. Ненавистничество бодрит, еще сказал себе я. Лучшее средство от меланхолии — мизантропия.

И все ж особый предмет моих рассуждений — шило. На таком пункте, пожалуй, возможно и сломаться. Стало быть — оный следует отложить. Само же оружие —

непрерывно держать под руками. Без гордости, без фанаберии и чистоплюйства, все время — в кармане, и разговор кончен! <...>

Ольга... Что-то и в ней скрывается необъяснимое. Но разгадка одного меня, пожалуй, пугает более всего. Более даже, чем... Лиза! Черт побери, Лиза!

47.

Я обречен также и на неумение высказать себя. А вы умеете высказывать себя? Если так, значит, вам и нечего высказывать, вы слишком поверхностны и бессодержательны, что бы при том вы ни воображали о себе. Подлинное человеческое невысказываемо, язык человека слаб и недостаточен. И все-таки ночью я забыл кое о чем. Старался не забыть, но все же забыл.

Я стал собираться, когда еще не рассветало, в восьмом часу. Ольга еще не вставала, хотя обычно просыпается рано. У нее уроки, ученики, упражнения, сольфеджио, пассажи, мелкая техника; я удивляюсь ее усидчивости.

Я умылся теплой водой, которую согрел в кастрюле.

Ночью я исписал десяток страниц. Было ли написанное корявым и бестолковым, или оно было величественным — этого я теперь не знал и знать не хотел. В любом случае я ничего не объяснил, а скорее всего, так даже запутал.

С чрезвычайными предосторожностями я вышел из квартиры и дверь за собою затворить постарался бесшумно. После минуту стоял на площадке, силясь уловить чьи-либо дыхания на других этажах. Я не услышал никого и ничего, кроме собственного дыхания, и на цыпочках стал сходить по пустынной лестнице.

Этажом ниже я снова застыл и прислушался. И тут вдруг дверь в метре от меня стала приоткрываться. Я отшатнулся и ошетинился. С бьющимся сердцем. С осиновой бесцельностью. Во избежание. Лицо Регины Злобиной показалось в дверном проеме.

— Неспалов, — хриплым просоночным шепотом говорила она.

— Доброе утро, — прошептал я.

— Вы что, уходите?

Я помолчал мгновение.

— Да, — говорил, — имею такое намерение...

Дверной проем расширился.

— Ой, что вы! — всплеснула руками Регина.

— А что, собственно?

— А вы написали уже? — сказала женщина.

— Что написал?

— Ну, этот... — сказала женщина, — ваш отчет.

— Начал его писать.

— Мне тоже велели написать. Я тоже только начала...

— Ну и на здоровье! — недовольно говорил я.

— Нет-нет, не на здоровье! Мне тут сказали вчера: увидите Неспалова, так передайте, что ему лучше бы вовсе со двора не выходить, пока он не напишет отчета.

— Кто вам сказал такое? — вскричал я.

— Да вы не обижайтесь, Мирослав, — примирительно говорила Регина. — Здесь нет ничего особенного. Да вы видели этих людей.

— Каких людей?

— Водопроводчиков...

— Так это они вам сказали по поводу отчета?

- Это неважно... Один из них... — в смущении сказала женщина.
- Наверное, Саша?
- Нет! Саша — хороший человек, но он еще молод и потому несколько легкомыслен. Его товарищ даже специально считается у них за старшего. Его зовут Аскольд...
- Аскольд?
- Он сказал мне, что им очень нужно, чтобы в нашем доме у них были надежные люди. На нашей лестнице.
- Надежные? — с аспидною насмешливостью вымолвил я.
- Ну да, надежные, — простодушно подтвердила Регина. — Аскольд мне сказал: «Я уверен, дорогая, что мы можем всегда на тебя положиться».
- Ну, а я уверен, — сказал я, — что вы не обманете его доверия.
- Не смейтесь, Неспалов! Все это очень важно! Они ведь защищают нас. Они всегда рядом. Они видят нас и готовы прийти к нам на помощь. Но они будут бессильны, если и мы не поможем им, если будем иронизировать, если будем отказывать в самых простых просьбах. Мне объяснили, и я хорошо поняла это.
- Так что ж, я теперь под домашним арестом... у этих ваших «водопроводчиков»?
- Ну что вы?! Кто же может вас арестовать? Хотя бы и по-домашнему?
- Стало быть, я пошел?
- То есть как это пошли? Как вы можете, Неспалов?! — укоризненно говорила Регина.
- А если у меня дела?! — черт побери, я, кажется, перед нею оправдывался.
- Важные дела, Неспалов?
- Важные.
- Но ведь и отчет тоже важен! — задумалась женщина. — Настоятельно просили написать его как можно скорее. Настоятельно! Что же это будет, если мы... сознатальные жильцы нашего дома... будем безответственны?
- Я сейчас пойду по своим делам, а потом вернусь и сразу все напишу, — сказал я. — Вернее, допишу.
- Да вас... — протянула Регина.
- Что — меня?
- И не выпустят, должно быть...
- Кто не выпустит? Водопроводчики?
- Ну... может, и не сами. Там, внизу... раз вы не написали отчета, так могут и не выпустить. Прямо морока с вами какая-то, Неспалов! Симфонию вам заказали — вы ее не пишете! Теперь и с отчетом то же самое! Вы как ребенок, честное слово!
- Отчет я пишу! — крикнул я.
- И где же он? — хладнокровно спросила Регина.
- Будет, — твердо сказал я.
- Когда? — спросила женщина. И, плотно сжав губы, пристально взглянула на меня.
- Сегодня, — сказал я.
- Хорошо! — строго сказала Регина. — Идите и пишите!
- Да, — сказал я.

48.

Разумеется, я лгал. Я и сам знал, что лгал. Отчет я, раз уж пообещал, конечно, напишу, но, во всяком случае, не теперь. Я лишь категорически против того, чтобы считали, что с симфонией и с отчетом у меня «то же самое». И потом, черт побери, я вовсе не доверял водопроводчикам, я совершенно не обязан им доверять. И тем более я не обязан их слушаться.

Я поднялся на свой этаж и открыл дверь. Ольга уже встала, я встретил ее в коридоре. Если уж жизнь дана невозможной и неудобоваримой, так необходимо до исхода ее с нею поквитаться как следует, сказал себе я. Силою смысла своего поквитаться, энергией своих негодования и нетерпимости. Пока отложить и обдумать. Вчерне. Наобум.

— Уходишь? — спросила Ольга.

— Да, мне надо.

Я собирался на кухню и не хотел, чтобы Ольга пошла за мною. Я мельком взглянул на нее и сразу отвел глаза. Ольга, кажется, поняла и ускользнула в гостиную. Вздернутый на дыбе дней. *Сызновствуя*. Да ведь и впрямь: что есть день сей? Совокупление *вчера* и *завтра*, мерзкое совокупление. Триумф безволия и бесхребетности. Шило в новых его «ножках» покоилось в правом моем кармане. Ночью я не бездействовал.

В кухне я намочил платок водой, отжал его и прямо мокрым засунул в левый карман. И еще взял ключ от чердака (правый карман!); Ольге лучше бы не видеть ни того, ни другого. Ей бы лучше не ведать жуткой моей предусмотрительности.

— Закрой, — после попросил я Ольгу.

— Ты надолго?

— Не знаю, — кратко сказал я.

Никто не имеет права на мою жизнь. Даже Бог. Особенно — Бог. Про Его заурядных подчиненных ныне я даже и не вспоминаю. Дух декоративный. Музыкальные метастазы. Довольно!

Я знал уже, что наверху, на этаже Гольдфарба никого нет, Регину же я не боялся. С Региною одно лишь досадное, досадного же не следует бояться, бояться следует губительного. Взглянув на опечатанную дверь Гольдфарбов, я стал взбираться по железной лесенке, пока не уперся головою в прямоугольный люк с крышкой, запертой на ключ.

Три поворота ключа, и тут я почувствовал запах. Он был ужасен, он был омерзительен, меня едва не вытошнило.

Набросив на лицо прохладный мокрый платок, я вступил в чердачную полутьму. В стороне с шумом метнулась пара тощих, злых голубей, я вздрогнул и, весь скрючившись и пригнув голову, поспешно зашагал прочь от люка и от нестерпимой вони. Дом наш велик, в три двора, и, если знать верное направление, по чердаку можно уйти до Литейного.

В одно из мгновений мне вдруг показалось, что я вижу тело девочки десяти лет, лицом вниз лежавшей возле трубы отопления, ныне холодной. Будто бы свет, рассеянный и промозглый, исходил от этого места, от шуплого тела в пальтишке, свет или какая-то иная из неуловимых энергий. Магнетизм места. Я встряхнул головой и содрогнулся. Видение исчезло.

Слишком много недоразумений и нелепостей восходит на русской земле, сказал себе я. Быть может, вообще все возможные в мире недоразумения и нелепости восходят на ней. Судьба такая, что ли, ее — быть рассадником ничтожного и недостоверного, всего такого, от чего душа лишь отшатнется и возмутится, от чего разум лишь покоробится, придет в негодование, погрязнет в скорби и неудовлетворенности?

Я был нелеп, я был вдохновенно нелеп, пробиравшийся по этому гадкому чердаку, в отрочестве я нередко залезал сюда и что-то здесь еще помнил. И пыль помнил, и духоту помнил, и замысловатые сплетения труб, и хруст керамзита под подошвами, и слабый свет мутных слуховых оконцев.

Пропать, вдруг пропать без вести в недрах жалкого народа своего, сказал себе я. Скудного и безжалостного народа своего. В недрах наречий его и недогово-

ренности. В недрах недомыслий его и насмешливостей. Что может быть лучше? Что может быть великолепней? Впрочем, мне соединиться с прочими людьми ничуть не проще, чем ртути с водой, я всегда это знал.

Через пару минут я и обнаружил незапертый люк на лестницу и слегка подивился своей догадливости. Сколько сюрпризов и неожиданностей в моем доме! Жизни не хватает, чтобы узнать и осмыслить их все. А сами вы не в таких ли домах живете? Все ли вы знаете о домах своих, об их замысловатых насельниках, квартир-осъемщиках и постояльцах? Мир сей — дом грандиозности, и двуногие и иные млекопитающие изрядно испещрили его неудобоваримостью.

Холодный воздух Литейного опалил меня. Я поехал и поднял воротник. Я подумал, что лучше выйти на Кировую или на Бассейную, чтобы поймать там машину, но неожиданно мне повезло. Сомнительного вида драндулец остановился сам собой на пути моем, когда я собирался переходить проспект. Я не раздумывал. Денег у меня с собой было немного, но водитель не слишком-то и запрашивал. Потому я тут же примостился на переднем сиденье, засунул руки в карманы куртки и стал медленно согреваться.

Когда же тонкие да проницательные придут вслушиваться во всякий мой записанный (или только замысленный) звук? Сколько смогут услышать, сколько смогут прозреть они! Как много они смогут удивиться, восхититься, ужаснуться, возрадоваться пред лицом моих неумных мотивов, пред строгою поступью моих звенящих хоралов, пред лихорадкою моих скерцо, пред пряною терпкостью вальсов! Впрочем, есть ли вообще в мире такие? Боже, есть ли еще в Твоем мире чуткие и взыскующие? Не извелись ли, не истратились ли? Не зарылись ли в свои обывательские норы? Не погрязли ли в своих простодушных трясилах, не умалились ли в своих скудных логовах? Чье сердце ныне способно к боли и изумлению? Чья грудь способна к восторгу и трепету?

На заднем сиденье вдруг стало что-то шуршать, скрестись, и через мгновение я ощутил, как некое животное поставило лапки подле моих плеч, и еще тихое, поспешное дыхание я ощутил на своей шее. Я быстро обернулся. Подвижная, любопытная мордочка крупного хорька была прямо около моего лица. Хорек спрыгнул обратно и беспорядочно заметался по заднему сиденью.

— Он не кусается, — сказал мой водитель.

— Ага, — сказал я.

— Вася, сиди тихо! — прикрикнул мужчина на ручного своего грызуна. Но Вася не послушался хозяина и заметался лишь еще беспорядочнее.

49.

За Балтийским вокзалом мы долго пробирались неизвестными мне улочками. Старопетергофским проспектом лучше не ехать, объяснил мне водитель — небезопасно. Хорек утихомирился и, кажется, даже стал придремывать. Иной раз ни с того ни с сего расхристанная душа моя полнится чем-то торжественным, псалмопевческим. Быть может, это следовало бы считать даже каким-то синдромом, перечень описанных синдромов ныне далеко не полон. Что ни человек — то особенный, отдельный синдром, а возможно, даже и не один. Патология — знамя двуногого во всяком заурядном его обиходе, сказал себе я.

Дом Лизы стоит в двух шагах от Екатерингофского парка и от грязноватого канальца, именуемого Бумажным. Место жуткое, разночинное, не без следов прежнего полублагородства, ныне давно утраченного. И полубосячества, давно накоплен-

ного. Я поднялся во второй этаж и прислушался, замерев подле двери. Я вдруг угадал, что Лизы нет дома. Странно, куда бы ей деться в такое время? — подумал я, нажимая кнопку звонка. После я снова прислушивался. За дверью было тихо, но я что-то угадывал — человеческое тепло или дыхание, никакой тишине меня было не провести.

— Соня, — тихо сказал я.

За дверью застыли, замерли, притаились более прежнего.

— Соня, открой, — еще тише говорил я. — Ты же знаешь, кто это. У тебя тоже хороший слух, и ты узнала мой голос, не правда ли? — я помолчал. — Ну, хорошо, давай сначала. Соня, ведь это же я, твой отец. Я — Неспалов, и ты тоже Неспалова. Я, признаться, не ожидал, что мамы не будет дома. Ведь ее нет, так? Да я и сам это слышу. Соня, черт, почему мне приходится тебя уговаривать?! Открой!

— Не могу...

— Почему? Я — твой отец, я хочу видеть тебя.

— Ты не отец...

— А кто же?

— Ты... только прикидываешься... А так ты... волк серый, ты съесть меня хочешь! — наконец говорила Соня.

— Это ты сказок начиталась! Серые волки не ходят по домам и не едят девочек. Ты знаешь мой голос, не так ли?

— Ты — волк, ты подделал голос отца, ты отца съел, и вот его голос подделался.

— Соня, открой мне, пожалуйста, я хочу рассказать тебе... про волков... и про симфонию. Меня попросили ее написать — такую, что если ее раз сыграть... то все серые волки сгинут... или, наоборот, расплодятся и на волю выйдут... не знаю... в общем, что-то должно было произойти... и все маньяки тоже... есть такое слово... Я начал писать, но потом... остановился. Я понял, что страшное произойдет, если я ее напишу. А если не напишу — тоже. Иногда музыка непосредственно связана с воплощением. А вчера вечером я видел твою маму, и еще... Сотников... дядя Виталий... с ним случилось нечто ужасное. Он писал ту же самую симфонию. И многие еще писали! Ты не знаешь, он писал симфонию?

— Писал, — шепнула Соня из-за двери.

— Ну вот, теперь ты понимаешь, что я — отец. Серый волк не может знать про симфонию? Он может только про мясо, про козлов, ягнят и барашков... А еще я сейчас на машине ехал, и там хорек был на заднем сиденье. Ты видела когда-нибудь настоящего хорька?

— Ты как мама: ты зубы заговариваешь.

— Нет, я просто не знаю, что делать, и поэтому плегу бог знает что, — потерянно сказал я.

Что это вообще было? Казалось, Соня — маленькая нечеловеческая машинка, зомби, механическое существо, запрограммированное на отрицание. Откуда в ней такое железобетонное упрямство?!

— Ты не хочешь меня видеть? — сказал я.

— Волка видеть не хочу!

— Мама вчера поздно вернулась? — перевел я разговор на другое.

— Нет...

— Не поздно?

— Не вернулась...

— Что?! — вскричал я. — Ты всю ночь была здесь одна?

— Не одна: волки приходили — в дверь скреблись...

— Соня, кто приходил ночью?

— Я сидела и боялась.

— Почему ты мне не позвонила? Я бы сразу приехал.

— Потому что тебя нет.

— Ну, хорошо, я сяду сейчас на пол, — я действительно опустился на пол, — и буду сидеть долго-долго, — сказал я. — Если я тебе буду нужен, ты откроешь. Если нет, мы можем говорить с тобой через дверь. И еще я буду защищать тебя от всех. И от волков тоже.

— Ты сам — волк-отец.

— Боже... — прошептал я.

Внезапно этажом ниже хлопнула дверь. Я прислушался к медленным, тяжелым шагам внизу.

— Лиза, — сказал я. И потом повторил: — Слышишь, Соня? Мама идет.

Через минуту и впрямь появилась Лиза, она взглянула на меня отрешенно.

— Зачем ты здесь? — сказала она.

— Соня всю ночь оставалась одна, она боялась, — с упреком говорил я.

— Я тоже одна. Я тоже боялась. И боюсь.

Лизу нельзя было назвать пьяной, но ночью она пила, это точно. Да и утром, видеть, тоже.

— Где ты была? — сказал я.

— Там... — сказала Лиза.

— Где — «там»?

— Должна же я была с ним проститься! Должен же был с ним проститься хоть кто-нибудь! Вы умеете только убивать! А вот чтобы хоть кому-нибудь из вас научиться прощаться, — Лиза махнула рукой и полезла в карман за ключом.

— Соня так и не открыла мне.

— Я так велела.

Ключ в скважине застыл, Лиза молча смотрела на меня.

— Могу я зайти? — спросил я.

— Разумеется, нет.

— Соня... она была одна. Может, что-то надо сделать для вас.

— Надо! Уйти, — сказала Лиза.

— Черт побери! — сказал я.

— Черт здесь ни при чем! — сказала Лиза.

Я молча повернулся и пошел прочь.

50.

На улице я все еще клокотал и потому почти не заметил холода. Но тут же не обошлось и без некоторой нелепости. Я будто причастился нелепостью. *Allegro scherzando*. Я шел в сторону площади, как вдруг поодаль краем глаза углядел человечка, шагавшего мне навстречу. Тот как-то так заметался и вдруг шмыгнул под арку дома. Злоба охватила меня, хоть я пока и не понял отчего. Я метнулся за ним и тоже заскочил во двор. Человек стоял, отвернувшись к стене. Одет он был в богемное пальто кремового тона, с малиновым шарфом вокруг куриной шеи, и еще — неопишуемые, залихватские штиблеты, похожие на парусники.

— Григорий! — заорал я, хватая его за плечо и с силой разворачивая к себе лицом. — Ты теперь скажешь, что и это случайность?!

— Что ты шумишь? — смущенно говорил тот, отводя мою руку. — Никакая не случайность. Я, конечно, не ожидал тебя здесь встретить. Вдова сама просила меня помочь, поддержать, успокоить. Ты-то ведь не способен поддержать и успокоить,

а я могу. Черта такая во мне имеется. Сочувственная! Опять же, как не посодействовать такой аппетитной женщине! Ты-то — чурбан бесчувственный и не замечаешь, а ведь твоя жена... бывшая... весьма аппетитна! Ну, ты не будешь ведь собакой на сене, не правда ли, дорогой мой?

Я помолчал немного.

— Сама, значит, просила?

— Сама! Женщины чувствуют, когда кто-то к ним, так сказать, с сочувствием. Ну, так что, Неспалов? Благословляешь на подвиги? По обоюдному согласию, разумеется.

Что-то гадкое, ожесточенное, возмутительное взросло на моей душе, я смотрел на Григория и старался не подать о том вида, он же улыбался жалко, заискивающе.

— Иди! — наконец сказал я Григорию.

— Слушаюсь, мой генерал! — с шутовскою мелкостью говорил он. Повернулся и стал уходить. Но потом воротился вдруг и сказал:

— Сотникова сегодня хоронят. Ровно в четырнадцать автобус от Дома композиторов пойдет. Ты будешь?

— Почему сегодня? — сказал я. — Отчего такая спешка?

— Вечером привезли, ночью вскрыли, днем закопают — все нормально. Нет, ты прав, конечно. Странная спешка! Будто избавиться поскорее хотят. Покойников теперь много, иные по неделям очереди дожидаются.

— А Лиза мне ничего не сказала, — протянул я.

— Может, расстроена была да забыла. Впрочем, разве поймешь этих вдов? Этих женщин? Так ты будешь?

— Не знаю! — сказал я.

— Решай! — с некоторой даже торжественностью говорил Григорий. — *Au revoir!*

Взмахнув своим малиновым шарфом, Григорий стал удаляться. Из двора я вышел за ним следом, и мы тут же разошлись в разные стороны.

51.

Чертов Григорий! После него я мог только о том и думать. Ехать ли мне на похороны Сотникова? Или все-таки нет? Коротко говоря, альтернатива следующая: и ехать нельзя, но нельзя и не ехать. Идеально, чтобы решение за меня приняла Лиза (вдова), но я не мог просить ее, чтобы она сделала это. С Сотниковым меня связывало многолетнее приятельство, в последнее время, впрочем, сошедшее на нет. Когда-то он дирижировал моими «Струнными рабелепствами» и «Маленьким музыкальным магнетизмом» и еще несколько раз исполнял мои «Крамольные квартеты», у него тогда был свой камерный оркестр. И была Варшава, и четыре города в Германии. С тех пор много лет минуло, мы изменились, мир изменился, меж нами бывали охлаждения и рецидивы приязни, он сошелся с Лизой после нашего с ней развода, но отчего-то вдруг сбрендил в последние дни.

Но все это никак не объясняет вчерашнего. Вчерашнее — загадка. Может, в Сотникове и раньше таилось сумасшествие и теперь только вырвалось наружу?

Я расположился в баре на Вознесенском проспекте, здесь можно было немного согреться, да и до Дома композиторов, в случае чего, не так далеко. Автобус пойдет через три часа, но вот буду ли я в этом автобусе — еще вопрос. У меня с собой была распечатка моих ночных записей и еще несколько чистых листов.

Я быстро просмотрел последние страницы. Черт, пожалуй, все это было скверно и не слишком убедительно. Даже себя самого я бы не мог убедить своей писаниной. В том числе и пресловутая моя обреченность, которую я принял за точку отсчета, она как-то ускользала, расплзалась, теряла форму под пристальностью моей ис-

пытующей иронии. И еще этот Шутко... с него, если не ошибаюсь, все и начиналось... да нет же, что — Шутко?! Я изначально не сумел оценить глубину взаимосвязи всех людей и событий.

А если попробовать зайти с другой стороны? Маньяк. Шило. Убийства. Он ходит где-то рядом с моим домом, иногда вторгается в мой дом и, свершив свои ужасные злодеяния, исчезает бесследно. Но исчезает *вне* или *внутри*? Он один или у него есть сообщники? Что движет им — расчет или обыкновенная умалишенность, помраченные извилины? Но разве могу я что-то в том угадать? Да и мое ли это вообще дело? Мое дело — сочинять звуки, сплетающиеся в мозгу моем, в груди моей, причудливо и удивительно, незаконно и бриллиантово. Мое дело — населить мир музыки новыми молниями и кунштюками, новыми раскаленными опусами, новыми необъяснимыми формами и альянсами, метаниями и неистовостями. А между тем в последние несколько дней я не написал ни строчки. Три дня — точно! Хотя в уме моем бьется и лихорадствует многое. Половина моего беспокойства имеет причину неисторгнутые мелодии. Другая же половина мне пока не понятна, ее следует еще изыскать в недрах моего бесноватого, чрезвычайного мозга.

Я весьма мало смыслю в мире и в современности. Кто-то с кем-то воюет, какие-то там сарацины, муниципалы, альтернативщики; говорят о новых инициативах, ультиматумах, окриках и угрозах ничтожного спесивого Запада — все для меня пустые звуки. Бог не дал мне практической жилки, зато возбудил во мне метафизический нерв, возбудил до боли и воспаления. Иногда надмирное для меня обыкновенней обыденного. Странное же я существо; так мало во мне буквальной и объяснимой пригодности к жизни.

Я заказал чай и, пока тот несли, быстро строчил свои каракульки. Письмена мои, похоже, были вполне бессвязными, я ничуть не беспокоился о том и даже радовался тому, я положил себе по возможности насмехаться над своими мучителями, а таковыми были, кажется, все. (Включая и меня самого, разумеется.)

Но вот только еще — деньги! Они на меня навевали угрюмость. Если здраво рассчитать, то их могло бы хватить дней на пять-шесть, в самом лучшем случае — на десять. Аванс, полученный за симфонию, был отдан Лизе и потом пропал таинственным и нелепым образом. Должно быть, по вине Сотникова. Больше никаких денежных поступлений в ближайшее время я ниоткуда не ожидал. Черт возьми, еще бы тут не быть угрюмости! Занять денег мне практически не у кого: отношения мои с коллегами оставляют желать лучшего, к тому же я слишком уж горд и не занимаю деньги никогда. В последние год-другой я сам оборвал немало контактов, которые могли бы теперь принести мне какие-нибудь гастроли, какие-нибудь поездки и ангажементы. И еще... странная какая-то история с этими авансами, розданными налево и направо Худбиным за одну и ту же симфонию! Это, если разобратся, вообще ни в какие ворота!

Интересно, сможет ли Скарбез извлечь что-то полезное из моих записок? Постараюсь, чтобы это оказалось невозможным. Принесли чай в стеклянном чайнике. Про чай непременно следует написать. Чай — хороший противовес моей едкости. Моей деструктивности. Отныне я стану покладистее, оставлю на время свои жаропонижающие ехидства, говорю себе я, свои легированные негодования. За окном, в сторону Садовой, едут тяжелые военные грузовики — зловещая вереница. Мы смирились, свыклись с присутствием этой ежедневной опасности, мы обрели безразличия к нашим участям; впрочем, не все и не всегда.

Итак, еду ли я? Да, возможно. И даже — наверное. Я буду непроницаем и высоковольтен, сказал себе я, но в оставшееся время я, пожалуй, могу еще привести в порядок некоторые мои мессиджи.

Я спросил еще водки и стал пить ее вперемешку с чаем. Русский коктейль. До моего испытания человеками, посторонними человеками, оставалось какое-то время, и я надеялся распорядиться им с толком.

Первая стопка водки показалась мне непримиримою. Гортань моя даже возмутилась от прикосновения этой прохладной, задиристой жидкости. Все наши тенденции требует особенно настойчивых поруганий, сказал себе я. Но вместе с тем я противился постороннему проникновению горделивого духа, искажению обыденного состава привычного естества моего. Двуногие вообще подмяли под себя весь мир, все пространства, все смыслы, все территории; птица в полете, в ее звонком полете, прозябает в стремительности, задыхается от взрывчатых мгновений своих, и все же она летит с оглядкой на происки хозяина мира — двуногого, который разделяет и расточает, синтезирует и совокупляет — и все равно властвует. Всякий вздох его — вздох власти, неистойвой, безобразной власти. Всякий шаг его — шаг бессилия и обескураженности, шаг безнадежности и громогласного фиаско. Поверженности. Опутошенности. Агент бездействия. Глорификация. Страна инея и измороси.

Сотников! Сотников!

52.

Было уж двадцать минут третьего, когда я подошел к хорошо известному мне помпезному особняку на Большой Морской. Я нарочно опоздал; если автобус уйдет, я не слишком стану от того переживать, решил я. Но автобус все еще стоял. Подле раскрытой его двери озабоченно топтался пожилой одышливый толстяк С., директор Дома композиторов, с серою повязкою распорядителя похорон на рукаве пальто.

— Неспалов! — всплеснул руками С.

Я смотрел на него и сквозь него, коротко кивнул головой, чуть правее стояли еще двое оперных теноров, один — какой-то саврасый, а другой — весь из себя мышастый, оба они поклонились мне, с некоторым даже заискиванием, кивок же мой был ни в сторону С. и ни в сторону саврасого с мышастым, но в пространство меж теми. Нет, я никого из них не презирал, конечно. Если вдуматься, я вообще никого из людей не презираю, но, скорее, напротив: робею, тушуюсь пред их определенностью, пред их обыденным самосознанием, пред обыкновенною их уверенностью в своем неотъемлемом праве топтать почву, праве жить, дышать, получать всевозможные блага, занимать место в социуме — для меня же все эти права неочевидны. По мне, так их надо еще и доказывать. Вот такая-то неочевидность прав и отличает меня от всех человек. Но неочевидность неочевидностью, а все же я весьма многое и не спускаю двуногим. Не спускаю себе, но им — в особенности!

— Вот ведь как, значит! — будто бы цесаркою захопотал директор. — Что творится вокруг! В какое время встречаемся... и по какому поводу... А Лиза... Елизавета Модестовна... вдова то есть? Где же вдова? Будет вообще? Не знаете, дорогой мой? — спохватился вдруг С. — Ее одну и ожидаем. А то уж темнеть скоро будет!

Я в это время пробирался бочком между директором и двоими внезапно подступившими тенорами, делать это было не слишком удобно и, быть может, оттого ответил с изрядною холодностью:

— Если бы это была моя вдова, я бы, наверное, знал определенно.

Худший ответ и вообразить, наверное, невозможно. А я как раз входил в автобус; увидев меня, все замолкли на мгновение, и фразу мою, уверен, слышали все. Десятки глаз впились в меня.<...> Я разобрал хомячий профиль какого-то молодого че-

ловечишки. Профиль показался мне знакомым, хотя самого человечешку я не знал, в последнее время я все меньше знаю ваших человечешек. Через мгновение я вспомнил, что видел его на Моховой, у себя под окнами, в сотниковской своре. Стало быть, это тоже музыкант, я тогда не ошибся. Ему бы пошел собачий ошейник, быстро думаю я. Чуть далее я увидел еще одного из той своры. В другом ряду были знаменитости, дирижеры оркестров, среди них даже сам Г., солисты, директор консерватории, профессура, наш брат-композитор; чьи-то руки тянулись ко мне, едва ли для рукопожатий, а впрочем, может, и для таковых. Но я все шел и шел по проходу, будто не замечая ничьих рук, в глазах у меня вдруг стало темнеть, я судорожно схватил ртом воздух, будто в последнюю минуту жизни моей, и прояснилось немного, поправилось что-то в недрах моего мозга, ухватистого и чрезвычайного моего мозга, далее оставалось еще несколько свободных мест, вот я и стремился теперь к оним. И наконец, обессиленный, плюхнулся в кресло в хвосте автобуса.

Еще полминуты длилась тишина, вызванная моим появлением, потом снова стали просачиваться отдельные звуки, обрывки фраз, даже смешочки, завязывались светские беседы. Один филармонический дурак отпустил какую-то шутку, легковесную и скоротечную, наподобие пунша. Смысла шутки я не понял.<...>

В автобус зашли и С., и саврасый с мышастым, С. для чего-то стал пересчитывать всех по головам. Я сидел подле концертмейстера из Мариинского театра, тот потел, сопел, раздувал щеки и всячески волновался.

— Сотников... — бормотал он. — Кто бы мог подумать? Эх, Сотников!

— Что — Сотников? — спрашивал я тихо, но неприязненно.

— Говорят, Мирослав, он пил в последнее время.

— Я тоже пью, что с того?! — возражал я.

— Вы — другое дело! — сказал тот. — Он как-то... ну, знаете...

— А я как-то встретил его на улице, так он меня не узнал, — вставил кто-то из сидящих сзади.

— Может, не увидел?

— При чем здесь не увидел? Говорю же, не узнал.

— Нарочно. Сделал вид.

Чуть далее по проходу шушукались, и я несколько раз четко услышал свое имя. Поминали и Лизу, и, уж что самое удивительное, Худбина. Я насторожился, как-то так раздраженно насторожился. Кстати же, где теперь мог быть Альфонс? Уехал ли он, вернулся ли в свою столичную неразбериху? Улеглись ли его беспокойства и вообще сама ситуация с не написанной мною симфонией? Разрешилось ли как-то все это? Вчерашнее видение на Моховой я уже почти приписывал своим расстроенным нервам, почти объяснял своей болезненной фантазией, ничего не могло этого случиться, говорил себе я.

Что же до Сотникова, так он просто рехнулся, обезумел самым натуральным образом в последние несколько дней. Как-то он связан со всеми убийствами, может, даже он и есть тот самый маньяк, о котором говорят. Интересно, известно ли здесь кому-нибудь о произошедшем под моими окнами вчера? Почему-то я думал, что об этом уже известно всему автобусу и едва ли не половине города. Ах да, человечешка с хомячьим профилем и этот еще... его сообщник... А остальное? А гибель Сотникова? В последнее время, в сии трагические будни происходило уже столько странного, так что не удивлюсь, если и это известно всем.

— Кирпич... обломком кирпича, — шептал кто-то сзади меня.

— Какой ужас!

— Да, ужас!

— Такого таланта, умницу, композитора!

- И грязным кирпичом.
- По голове.
- Забили!
- Как зверя загнанного...
- Невероятно!

Я повернул голову, пытаюсь разглядеть шепчущих, но увидел только потупленные головы, бегающие глаза, лица, полные деланной невозмутимости.

- Обернулся... посмотрел... — шепнули еще.

Я отстранился от всех, упрямые желваки блуждали по скулам моим, я на минуту вперился взглядом в пространство подле себя, в спину пианиста Егорова. Я никому ничего не должен! Было время, когда я тянулся к этому миру, когда я цеплялся за этот мир. Но теперь с прежним покончено, теперь со мною покончено. Теперь я оттолкну всякую протянутую ко мне руку, теперь никакая боль не будет для меня чрезмерной. Я дышу болью, я всегда буду дышать болью, боль — лучший мой воздух, лучшая моя пища, лучшие соблазны или деликатес.

Внезапно в мозгу моем, в гортани, в височной кости, в гайморовых пазухах и в адамовом яблоке загремела музыка, моя музыка, симфония, я отчетливо слышал ее. Начиная с двадцать четвертого такта. Казалось, музыка выплескивается из меня, я даже подумал, что сам звучу, что сам резонирую, будто я сам — инструмент, будто я — оркестр; я поспешно обернулся, стараясь понять, слышат ли мою музыку. Иные взоры были потуплены; черт побери, практически все избегали смотреть на меня прямо. Значит, и вправду они слышат! Новая напасть: я сделался инструментом! Одно обнадеживало: я звучал чисто и точно!

Все верно! Меня подслушивали. Нельзя думать о шиле, о Сотникове, о крови, приказал себе я, раз уж мысли и децибелы мои сделались известны. И я не стал думать ни о чем таком, а лишь слушал звучащую музыку. Она была величественна, она была необыкновенна, при других обстоятельствах ею бы даже возможно было гордиться. Но теперь же ее услышат все и разнесут, перепугался я, разболтают, распойут, растащат на куплетцы, на сонатцы, на лейтмотивцы, на квартетишки и концертишки. Теперь, оказывается, даже думать нельзя без опаски.

— Симфонию... поручили симфонию... — шептал кто-то, склонившись к самому уху Г. и прикрывая рот ладонью, — правительственный заказ, сжатые сроки, строжайшая конфиденциальность... любой бы за честь посчитал... а он давай кочевряться!

— Я бы продирижировал такой симфонией, — меланхолично протянул Г. — Я всегда относился с интересом к его музыке.

- Все интересуются его музыкой...

Говорили ли обо мне или нет, я не знал, отчего-то казалось, что все же обо мне, и ожесточение поднималось, заполняя собою все пустоты и заторы звучащей симфонии, между хора тромбонистов и струнными, между пробежкой английского рожка и тихим тремоло литавр, хотелось завывать, закричать, чтобы смолкли все и чтобы в том числе унялась и эта запретная музыка. Я легко мог бы записать эту музыку на бумагу, превратить в мириады закорючек, в сонмища загогулин. Мне лишь мешали глаза, мне всегда мешали они, при первой же возможности непременно постараюсь от них избавиться. Я начал привставать, еще не зная, что стану делать. Мой сосед удивленно покосился на меня, и другие тоже стали на меня коситься.

— А он стал отказываться, говорить: недостойн, мол, и все такое прочее... — шептали еще там, возле Г.

- Ну да, он — мастер, — согласился прославленный дирижер.
- Это не то слово...
- Да и что значит — недостойн?

— Просто смешно!

— А кто тогда достоин?

— Вдова! — вдруг вымолвил кто-то с бестактной и неожиданной звонкостью.

Все прильнули к окнам. И вправду шла Лиза, шла нетвердой походкою, но как-то так преувеличенно прямо, одна шла, без Сони. Сзади, метрах в пятнадцати, будто собака побитая, плелся Григорий. Будто больной, неуклюжий барсук. И тут во мне все умолкло, все звуки, все смыслы и сарказмы, все сумеречные волхования медных, вкрадчивость альтов, насада гобоев, уныние флейт, и даже само молчание умолкло, сама тишина съезилась и стусевалась.

Лиза стала заходить в автобус.

— А-а... — сказала она, окинув взглядом собравшихся.

— Елизавета Модестовна! — подскочил со своего места С.

— Все здесь... чтоб выразить... чтоб почтить... это хорошо... — говорила она.

Лиза была пьяна, все видели это, но деликатно старались того как бы не замечать. Григорий остался на улице, он, кажется, не собирался ехать.

— Елизавета Модестовна, вот сюда! Садитесь, пожалуйста, — хлопотал С.

Лиза пошла по проходу, ее сзади поддерживал мышастый, я напрягся, но Лиза не смотрела на меня. Наконец она уселась сзади, мышастый же вернулся на свое место, рядом с саврасым.

— Отправляемся! — громко сказал С.

— Это так все его любят? — громко спросила Лиза.

К ней повернулись несколько голов.

— Я спрашиваю, так все любят Сотникова? Да? — сказала Лиза.

— Да-да! Конечно, — отвечали ей.

— Любят... — повторила она.

— Любят-любят...

— А полоумный? Что здесь делает полоумный? — спросила Лиза. — Этот убийца?

— Что? — с ужасом переспросил ее кто-то.

— Где убийца? Какой убийца?

— Здесь, в автобусе — убийца?

— Что вы такое говорите, Елизавета Модестовна?!

— Этого не может быть!

— Неспалов! — сказала Лиза.

Я подскочил на месте, как будто был распрямившеюся пружиной. На Лизу я не смотрел, я не смотрел вообще ни на кого. Губы мои дрожали, сердце колотилось стремительно. Прежде я так долго закадычествовал с тоской, что та поневоле подорвала мое сердце.

— Ты выбрала очень удачное время для спектакля, Лиза, — тихо сказал я.

— Прости, дорогой, — отчетливо сказала Лиза. — Каждый пользуется тем оружием, которое у него есть.

Ни слова более не говоря, я пошел к выходу.

— Мирослав, куда же вы? — заголосил вдруг С. Он стал на моем пути с растопыренными руками, будто собираясь удержать меня таким образом. — Мы уже отъезжаем!

Были еще возгласы, недоумевающие, сочувственные.

— Мирослав! — сказал и Г.

— Пускай идет! — вдруг звонко выкрикнул человечиска с хомячьим профилем. — Видали мы таких музыкальных экклезиастов!

— Молодой человек! — одернул того Г.

— А чего «молодой человек»-то?! — отмахнулся «хомячий профиль». — Имейте к вдове уважение! Да вы карманы у него выверните! На руки его посмотрите!

— Ну, выворачивать карманы я ни у кого не собираюсь! И смотреть на руки! И надеюсь, при мне никто себе этого не позволит! — гневно ответил Г. и вдруг умолк. Будто окаменел.

— А может, там кровь?! О крови вы не подумали?! — выкрикнул еще этот неугомонный. — Не слишком ли много вы позволяете ему *мессийствовать*?!

Дверь захлопнулась у меня прямо перед носом.

— Мирослав! — восклицал С. — Да прекратите же вы чушь молоть! — одернул он моего хулителя. — Елизавета Модестовна, да скажите же вы, наконец! — в отчаянии воскликнул С.

Но Лиза если и что-то хотела сказать, то не успела. Она начала вставать, она хотела речь свою произнести стоя и с пафосом.

— Откройте дверь! — прорычал я.

Дверь распахнулась, я выскочил из автобуса. Неприкосновенный запас неуверенности. Я не предназначен для этого мира, я попал в него по ошибке, — крикнул себе я. Я был под прицелом десятков пар глаз сидевших в автобусе, все смотрели на меня, первые три шага я сделал спокойно, даже преувеличенно спокойно, но потом не выдержал, сбился, дернулся, отпрянул в сторону, голову затряс; все события, странности и навязчивости последних дней будто набросились на бедную душу мою, на мою обезображенную и обездоленную душу, и тогда я, смутившись от собственной нелепости и с ужасом обхватив голову руками, бросился бежать, гадко, судорожно и затравленно.

53.

Я многим мешаю дышать, приходится со всем смирением признать это, сказал себе я, подходя к своему дому на Моховой улице. Я и себе тоже мешаю. Теперь так трудно быть человеком, так стыдно и невыносимо быть человеком! Я всегда знаю, когда меня не хотят, ни духа моего, ни смысла моего не приемлют, ни голоса моего не жаждут, ни звука дыхания, ни очертаний лица, ни блеска глаз, ни рисунка кожи, ни шуршания одежд, ни шарканья подошв. А тут вдруг так не угадал! При том, что слишком, слишком много признаков указывало на неизбежность конфуза. Не объяснимо! Непростительно!

Однако же черт сподобил меня вляпаться да влезть в тот автобус! Другой пищи теперь не будет, другой темы — все станут обсуждать скверное мое присутствие и жалкий мой побег. Черт! Правду говорят, что я — большой ребенок, что я вовсе не смыслю в обыденном. Мне ничего не стоит тридцать два голоса сплести в одно восхитительное целое, в одно небесно-прекрасное, в одно торжественно-сокрушительное, но это совершенно другое. Вообще же жить надо тихо-тихо, давно уже говорил себе я. Так, чтобы даже и Бог не замечал. Жить шепотом.

Гольдфарб. Я замедлил шаги подле парадного оттого, что подумал о нем. Но, может, я ожидал еще чего-то, не правда ли? Да, это возможно. Чуткость к несущему. Мимолетное. Стало сбываться. Из-под арки в мою сторону шагнули двое, я вздрогнул и отстранился. Водопроводчики. Младшего, Сашу, я имел возможность разглядеть и вчера. Но в нем гнездились что-то простовато-обыкновенное, плоско-размеренное, даже взгляду зацепиться было там не за что. В облике же другого я обнаружил что-то будто бы лисье, сама физиономия была как-то устремлена вперед и сгрудилась к его острому носу, рот был мал, зол и двусмыслен, жесты же — взрывчаты и неожиданны.

— Неспалов, — сказал Саша из-за плеча товарища своего.

— На минуточку, — проговорил и старший.

— Что? — спросил я.

— Давайте зайдем сюда на минуту, — повторил тот и поманил за собою.

Втроем мы шагнули под арку.

— Что случилось? — спросил я.

— Ничего, — сказал Саша. — А что должно случиться?

— Не знаю, — сказал я. — Тогда зачем мы сюда идем?

— Ну... — сказал Саша, — разве так уж трудно пройти? Всего-то — два шага.

— Два шага пройти не трудно, — сказал я.

— Кстати, — сказал еще Саша. — Это — Аскольд.

Мы, разумеется, прошли не два шага — все двадцать. В замкнутом этом дворе было некоторое движение, дверь в подвальное помещение оказалась открытою, в подвальном полумраке же копошились всяческие людишки вида непрезентабельного. Бродяжка, одетый в лохмотья, как и мы, шедший с улицы, обогнал нас и, окинув взглядом, едва ли доброжелательным, тоже спустился в подвал. Мы остановились.

— Вот, — сказал Аскольд. — В двадцать часов... ровно в двадцать...

— Что? — спросил я.

— У вас точные часы?

— Точные.

— Нужно быть здесь.

— Где?

— Здесь, — повторил он. — Но обязательно в двадцать. Не в девятом часу и не в без четверти...

— Значит, в двадцать? — спросил я.

— Вы сможете?

— Да.

— Это очень важно, — сказал Аскольд.

— Очень, — подтвердил Саша.

— Я понял.

— Вы сейчас домой? — спросил Аскольд.

— Домой.

— Идите, — сказал Аскольд.

Не знаю, отчего я выслушивал все безропотно и исполнял беспрекословно, но я молча развернулся и пошел со двора. Водопроводчики же остались на месте, затеяв, кажется, раскурить там по сигаретке.

Лифт не работал. Я стал медленно подниматься по лестнице, мне вдруг показалось, что я стар, что баснословно стар <...> Тревога. Ощущение присутствия. Еще более замедлил шаг и насторожился. Ad libitum. А если на лестнице кто-нибудь есть, затаился и ожидает меня?! Смогу ли я защититься, отбить его нападение? Когда-то это все же должно было случиться!

На втором этаже они могут только поставить своего наблюдателя, решил я. Основная опасность в таком случае будет ожидать меня выше. Может, крикнуть Ольгу? Если она дома, она либо встретит меня, либо спугнет притаившихся. Но нет — малодушие! Мне не следует вовлекать в это Ольгу, какие бы опасности меня ни подстерегали. Шестнадцать шагов, площадка третьего этажа.

Там стояла Регина. Негодующе так стояла, яростно. Я хотел было кивнуть ей или поздороваться.

— Какой же вы подлец, Неспалов! — бросила она мне.

Почему она сказала такое, я не знал, теперь мне это было уже все равно. Я посмотрел на женщину молча, передернул плечами и, будто бы пришибленный, стал подниматься по лестнице далее.

54.

Это вы все убили меня, вы все! У вас меж собою было даже состязание за право, за честь быть душегубцами моими, быть гонителями моими! Боже, неужели я даже не успею выкрикнуть список ваших имен?! Неужели поперхнусь я или запнется гортань моя, когда подступят к ней тяжелые гнев мой и недвусмысленность?! Хорошо вам, мучителям моим, хорошо быть безразличными, быть равнодушными, хорошо замалчивать мои оголтелые песни, мои редкоземельные шепоты, мои щетинистые сарказмы и сердечные содрогания! Я изнемог, я обессилел перед этой стеною, перед этим сбродом, перед этими раздавшимися насекомыми, перед этою тлëй в законе! Боже, не успеваю, ничего уж не успеваю! Хотя стоите вы все, стоите, чтобы быть названными поименно, со всеми делами, со всеми подлыми пренебрежениями вашими, со всеми обыденными свинствами, со всеми кургузыми безобразиями!

Ольга была дома, как я и предполагал. Она встретила меня в прихожей, я обнял ее и отстранился.

- Мне надо сейчас уехать, — сказала она.
- А что?
- Матери плохо. С ней побыть некому.
- Ты в Гатчину?
- В Гатчину, — сказала Ольга.
- Осторожней, — сказал я. — Гатчина опасна.
- Я знаю, — сказала Ольга.
- Действительно опасна.
- Я действительно знаю.
- Ты будешь собираться?
- Уже собираюсь.
- Я тебя провожу.
- Нет.
- Как же... — пробормотал я.
- Ты решил не ехать на похороны? — сказала Ольга.
- Я решил ехать, но потом все-таки не поехал.
- Бедный, — сказала она. — Что же тебе пришлось вынести!
- Ты уже знаешь?
- Кое-что.

Я не стал спрашивать у нее — откуда она знает, при желании я и сам мог бы это угадать, но почему-то не желал ничего угадывать. Я бы скорее удивился, если бы о моем конфузе еще не знал весь город. Он следит за потаенным, он видит мысли и прозревает намерения, он подслушивает невысказанное. И если я хочу его обмануть, этого монстра, этот чудовищный сброд и скопление особняков и пешеходов, заборов и лимузинов, хаоса развалин и неистребленного рекламного неона, трехкопеечных забегаловок и пустопорожного переулочного ветра, так уж делать это следует отнюдь не скрытностью и не затаенным духом, но — напротив — громогласностью и разнузданною новизною созвучий.

- Когда вернешься? — спросил я Ольгу.
- Утром буду. После обеда у меня ученики.
- А, — бесцветно сказал я.
- А ты что станешь делать? — спросила та.
- На мне этот отчет чертов висит. Да и вообще... — я замаялся на мгновение, но потом все же продолжил: — Я сейчас внизу встретил «водопроводчиков»...

- И что?
- Потом расскажу, — пообещал я.
- Хорошо, — сказала Ольга.
- Сегодня занятный денек!
- Кто там был?
- В автобусе? Все. В том числе Г.
- И значит...
- Все всё слышали, и все всё видели, — сказал я.
- И Г. тоже?
- И Г., разумеется.
- Кошмар, — сказала Ольга.

55.

Я закрыл за Ольгой дверь. И потом... да-да, разумеется, я стал рассматривать свое шило. Это важно. Здесь не должно быть ошибки. Рукоятка подле основания иглы буквально пропиталась кровью, я теперь это видел отчетливо. Рукоятка была даже еще влажна. Откуда? Какой из новых самообманов мне следовало бы придумать, чтобы объяснить появление этой крови?!

Каждому по делам его воздастся забвением. Миру по делам его воздастся забвением. Я обещаю вовсе не помнить о мире за своею гробовою доской. Ныне же задачу своей полагаю — легализацию небытия. Превентивную легализацию. И довольно об этом, сказал себе я. Стоящий спиной к бездне искушает ее (бездны) бевсов, сказал я. Бедный Неспалов, сказал я, честное слово, зря ты избрал для себя такое положение тела и, уж разумеется, такое состояние духа, сказал я.

Следует осмотреться и не думать более ни о какой крови. Безграничное презрение к собственной жизни вдыхает в нее столь же безграничное терпение. И все-таки кое-что меня смущало по-прежнему. Но что же? Да-да, в мире ныне огня недостаточно! Дайте же больше огня, огня и непримиримости! Пусть небо будет в искрах и сполохах, земля — в раскаленных угольях! Пусть воздух делается едким и невыносимым дымом, чтобы грудь от него изнемогала, трепетала и бесчинствовала. Лишь тогда, быть может, я согреюсь, лишь тогда, быть может, душа моя отойдет и оттает. Дайте же больше огня, пусть глаза мои наслаждаются пламенем, уши — треском, пальцы — копотью, горло — угаром и ресницы — пеплом.

Телефон. Нужно позвонить. Я дошел до аппарата, стараясь держаться спиной в сторону бездны. Мне слышались возгласы и перешептывания бесчисленных тамошних существ, смыслами своими и содержаниями весьма далеких от человека. Потом снял трубку и набрал номер. Тихое дыхание в трубке.

- Соня, — сказал я.
 - Я не она, — сказала Соня.
 - А кто же ты?
 - На что тебе имя? — рассудительно сказала мне дочь. — Ты меня за имя вытащишь.
 - А кто я такой, знаешь? — сказал я.
- Соня промолчала.
- Утром ты меня назвала волком. Я приходил... А теперь?
 - Раньше ты был волком, и тебе было хорошо. А теперь ты не волк и не знаешь, кто ты такой.

— Соня, ты сочиняешь сказку? Ты вообще у меня сочинительница, я знаю, — сказал я.

— Не очень.

— Мама вернулась? — спросил я.

— Нет.

— Вернется.

— Наверное.

— Чем ты теперь занимаешься?

— Жизнью.

— У вас еда есть?

— Немножко.

— Соня, — сказал я, — хочешь, я приеду завтра? Ты откроешь мне?

— Завтра ты снова станешь волком.

— Что мне сказать, чтобы ты поверила, что я — это я?

— Ты зарычи!

— Будь по-твоему, — коротко рыкнул я то ли волком, то ли собакой, то ли гие-ной напуганной и положил трубку. Замечательный день для фиаско, великолепный день для отчаяния! Так и запишем!

Потом я раскрыл компьютер, подождал, пока тот настроится, хрустнул пальцами. С чего начать? Мне даже не справиться с одной моей обреченностью. Едва я пытаюсь потянуться в ее сторону, как та проворно ускользает от всего моего испытующего. Соня... И все-таки я должен быть честен. В той же самой, разумеется, мере, в какой и лукав. Плевать! Бумага всякого меня стерпит. Мир всякого меня отторгнет. А уж терпение бумаги я стану испытывать до конца. Злой славянин. Сгла-тывая слюну. Неразборчиво.

56.

Весь последний час до восьми я только и делал, что следил за временем. Оттого почти не писал; впрочем, не страшно: написано уже немало. Ночью посижу еще чуть-чуть и закончу свою писанину.

Будет ли Скарбез доволен моим отчетом? Уверен, он будет в бешенстве. По-видимому, он возлагает на мои записи надежды. Взгляд на наш дом, на происходящее в доме глазами изнутри. Но он явно не ожидает, что взгляд будет слишком уж внутренним. Такой взгляд не дает объективной картины, такой взгляд действительную картину как раз затушевывает.

Я сидел и замерзал. Я бы теперь с легкостью убил кого-нибудь всего только за несколько минут тепла. Я думал, выгадывал и тшилсь сообразить что-то особенное. И еще я заключил, что мне впредь следует сочинять имена тишины. Всякой тишины, что будет ниспослана мне в обращение. В моих записях немало наберется гроздьев издевки; не сомневаюсь, Скарбез не сможет этого не заметить. Он не сможет этого и не оценить, он не сможет от того не возмутиться.

Миру следует стать декоративным, вычурным, изощренным, тогда, чего доброго, и все несчастья в нем сделаются ненастоящими.

Без пяти минут восемь я быстро оделся, напялил сизую личину удрученности, оглядел свое оскверненное шило. В таком виде класть его в карман не хотелось. Может ли оно мне теперь понадобится? Да, но ведь я буду там под эгидию водопроводчиков, под сенью юношей в цвету, сказал себе я. Я вдруг застыл в затруднении: взять или не взять?

После отбросил шило и шагнул за дверь. Было тихо. За дверью Регины стояла тишина, будто бы мертвая. Значит, ни ее самой, ни кого более в квартире не было.

Площадка первого этажа часто приносит сюрпризы, на ней следует быть осторожным, сказал себе я. Но мне повезло, ничего опасного там не оказалось.

Под аркой меня ожидал водопроводчик Саша.

57.

— А я уж собирался идти за вами, — сказал он.

— Кажется, я не опоздал.

— Не опоздали.

Мы с Сашей зашли во двор, дверь в подвальное помещение была распахнута, оттуда снопами вырывался свет. Подле двери толпились две грязные нищенки, мужичок-оборванец весь в слюнях, рядом стоял Аскольд, с острою и подвижною его физиономией.

Увидев нас, люди почтительно расступились.

— Проходите, Неспалов, — тихо сказал Аскольд. — Вас только и ждут.

«Кто меня ждет? — хотел было спросить я. — Все эти бродяжки? Все калеки и простолюдины?»

Последних я видел в глубине подвала.

— Ничего, что вы немного побудете среди черни? — спросил меня Саша.

— Ничего.

Я шагнул по ступенькам и оказался внутри помещения. За мной спустились Саша и Аскольд, нищенки и мужичонка робко застряли на ступенях.

В подвале было душно, накурено и надымлено, в разных местах стояли несколько фонарей, какие используются в театрах. Здесь было собрание уродов, калек, бомжей и, быть может, бесноватых. Вот молодой парень с опухшим от пьянства лицом, на деревянной культяпке. Еще старуха с изъязвленными скулами, бровями, вздувшимися мочками ушей, чему причиной, возможно, были *Mycobacterium lepromatosis*. Мужичок с огромной багровою опухолью на лице, похожей на хобот. Были безногие, безрукие, были с выгнившими челюстями, со сплюснутыми черепами, гидроцефалы. Кто-то трясся и содрогался, кто-то стонал и сопел, кто-то всхлипывал и похохатывал — сброд, скопище безобразных, отталкивающих человечьих обликов, истощившихся и изнуренных людских душ. Все эти люди стояли к нам спинами и чего-то напряженно ожидали. Лица, все лица, жуткие и невыносимые. Как в «Капричос» Гойи.

— Что это? — шепнул я стоявшему рядом Аскольду.

Но он лишь прижал палец к губам.

Всякий двуногий в сем мутном мире исполняет свою местечковую миссию, сколь заурядную, столь и неосознаваемую, сказал себе я.

Вдруг по толпе пронеслось некоторое движение.

— Болезного ведут! — взвизгнул кто-то.

— Болезный! — подхватили все стоявшие уродцы. Замелькали платочки (или просто грязные тряпки), которыми утирали слезы. Кто-то (явно не в себе) захихикал, но на него зашикали, прикрикнули, и тот стусевался.

58.

Из глубины подвала в сторону толпы двигалась странная процессия. Несколько мужичонок, одетых в одно исподнее, не весьма чистое, вели пред собою безобразно

тучного человека в широкой набедренной обвязке и с мешком на голове. Тучный шел сам, его не приходилось тащить, он словно бы добровольно принимал участие в этом спектакле (или в мистерии?).

Процессия дошла до середины подвала. «Болезный» заволновался и застонал. Тихо, глухо, тревожно. Это вызвало общее ликование, но один из процессии погрозил толпе кулаком, и людишки умолкли. Тучного подвели к стене, на которой был приколочен огромный дощатый щит. На щите выделялось что-то подобное вертикальному брусу и дощатая же, горизонтальная перекладина на уровне чуть выше плеч «болезного».

Все происходящее мне было не слишком хорошо видно из-за голов сих убогих человечков.

— Ближе подойдите! — шепнул мне Аскольд. — Вам можно.

Человечки действительно расступились передо мной.

И тут вдруг люди запели. Волосы стали дыбом у меня на голове от возмущения и какого-то внутреннего содрогания.

Пьяненькая старуха в драной шубейке и в столь же драном шерстяном платке на беспутной голове ее выступила вперед, приосанилась, и вдруг высокий, сильный и неожиданно молодой голос ее поплыл под сводами подвала.

— Да исправится молитва моя, яко кадило, пред Тобою...

— ...Воздеяние руку моею — жертва вечерняя, — вдруг в терцию подхватила это скорбно-сосредоточенное песнопение беззубая моложавая шлюшка с подбитым глазом и переломанным носом.

Тихо-тихо откликались басы. Органный пункт. Что угодно готов был услышать я, но только не Чеснокова, не сто сороковой псалом Давида. Это было невозможно, это было противоестественно и недопустимо, и все же я слышал это пение, это торжественное и строгое многоголосие. Да, был вечер, была жертва, но разве об этом псалом? Нет, нет и еще раз нет! Тучного держали с двух сторон за руки, в позе распятого, и вдруг у одного из процессии в руках появились огромный молоток и гвозди. Ужас охватил меня. Что они задумали? Кто-то сдернул мешок с головы тучного, и ужас мой удвоился, удесят�ерился. Тучным был Альфонс Янович Худбин. Лицо его было изможденным, исстрадавшимся и отчаявшимся.

Еще раз прозвучали те же строки на другой мотив. Теноры и баритоны — покачиваясь. И потом еще выше, еще чище и пронзительнее грянули голоса, канонически распевая фразу.

— Господи, воззвах к Тебе, услыши мя: вонми гласу моления моего, внемди воззвати ми к Тебе...

— Худбин! — крикнул я.

Поющие вздрогнули и стали оглядываться на меня. Они еще больше раздались передо мною. Саша легонько толкнул меня кулаком в бок, призывая к порядку.

Вдруг мелькнул молоток, и худбинский палач с размаха стал вгонять гвоздь в предплечье Альфонса Яновича. Проступила кровь. Худбин завыл, страшно, глухо, подземно, безнадежно. Может, это все-таки был какой-то трюк, убеждал я себя, как в кино: может, работают иллюзионисты, и кровь не настоящая, и гвоздь вовсе не входит в человеческую конечность.

— Худбин! — еще раз крикнул я.

Тот, ослепляемый фонарями, поводил головой в поисках меня. Наконец он замер, смотря приблизительно в мою сторону. Какое-то удовлетворение и даже торжество напоззли на его лицо, будто он собирался обнять внезапного вернувшегося к нему блудного сына.

— Неспалов, — глухо говорил он.

— Что происходит? — закричал я.

— Вы здесь... — бормотал еще Альфонс Янович.

— Перестаньте! — прошипел мне Аскольд. — Так надо! Слышите?!

И вновь зазвучал стих про молитву, которая должна была исправиться, яко кадило, пред Господом. Рефрен. Нарастающая звучность басов и баритонов. Дым волновался в лучах света, отчего само пространство будто искажалось и трепетало.

— Неспалов, — еще раз повторил Худбин.

— Прекратите! — кричал я.

— Болезный! — взвизгнула косматая, цыганистого вида старуха.

— Вы знаете, кто это? — бормотал я. — Что вы делаете!

— Больно болезному-у-у! — еще раз завизжала старуха.

Снова мелькнул молоток, и гвоздь вошел в другую руку Худбина. Я будто завоженный следил за искажившимся от боли лицом Альфонса Яновича. Я хотел было броситься ему на выручку, но ноги мои подкашивались, и тело мое не слушалось меня, и еще сердце... оно вдруг сделалось небывалым, фантастическим, несгораемым, оно озарилось восторгом и неуверенностью, оно вспыхнуло волнением и безрассудством. Я сделался наблюдателем, все существо мое было существом наблюдателя, созерцателя, парализованного свершающимся. Я теперь не мог вымолвить ни слова...

— Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устах моих, — медленно и торжественно раскатывался следующий стих.

— Ничего, Неспалов, — бормотал Альфонс Янович. — Я выдержу!

— Худбин... — беззвучно шептал я.

Я ненароком взглянул на водопроводчиков. О, ужас! Саша ухмылялся, Аскольд же... одобрительно кивал головой, глядя на экзекуцию.

— Я вас только очень прошу, Неспалов... — тяжело говорил Альфонс Янович. — Слышите меня?

Я хотел было сказать, что слышу прекрасно, несмотря на то, что хор уродов и полоумных уже твердо выводил слова рефрена про молитву и про кадило, но ничего не сказал. И вот уж зазвучал заключительный стих песнопения:

— Не уклони сердце мое в словесе лукавствия, непщевати... непщевати вины о гресех...

И Худбин, собравшись с духом и с силами своими, говорил изможденно:

— Вы должны написать... Неспалов... симфонию...

— Симфонию! — заверещала старуха, та, что все поминала «болезного». — Он напишет!

Она стала приплясывать и размахивать сухими и костлявыми руками. Она похотывала и приплясывала прямо передо мною, другие тоже оборотились на меня, да и хор тоже оборотился, они теперь пели уж мне одному и про сердце, и про лукавствия, и про вину, и про грехи, и про кадило, и про молитву, и про Господа, и про жертву вечернюю. Я с ужасом смотрел на этот бедлам, на это светопреставление.

— Хорошо! — весело шепнул Саша товарищу своему Аскольду.

— Да, — коротко отвечал тот.

Что именно было «хорошо», я не знал, да и вряд ли здесь могло быть вообще что-то хорошее. Я повернулся к выходу, на дороге у меня были те самые нищенки и оборванец, я оттолкнул кого-то из них и стал выбираться из подвала на воздух.

— Симфонию... — вслед мне шептал Альфонс Янович. Угасающие басы. Трепет. Двухголосие.

Возле входа в подвал я вдруг пошатнулся, меня швырнуло на стену, я осел, сполз по стене, стараясь уцепиться за что-то руками, но уцепиться не получалось, потом

с силою вобрал в себя воздух несколько раз, до боли в груди, до ломоты за ключицами, до искр в глазах, встал, выпрямился и тут взглянул на свои руки.

Они были в крови. Эти чертовы руки были в крови. Теперь уж в этом сомневаться не приходилось.

59.

Сумасшествие могло бы быть даже спасением. Отчего невозможно отключить рассудок свой усилием воли, как свет в комнате — щелчком выключателя? Отчего рассудок так цепок, так привязчив, так неискореним? Отчего когда он нужен, его как раз и недостает, но когда жаждешь от него избавиться, когда стремишься его истребить, изжить, опровергнуть, оказываешься бессильным пред его независимым существованием. Человек иногда — раб своего рассудка, иногда — пасынок и приживала, совсем уж редко — добрый товарищ и никогда не господин над оным.

Я боялся, я только и делал, что боялся, я боялся самой боязни, страх садился мне на плечи поверх пледа. Разве страх — птица? Нет, он не птица, но крылья у него есть. Я погряз в жемчужном и межеумочном, я истратился в велеречивом и величественном. Ольга. Я хотел было позвать ее. Но точно ли она дома? Нет, ее нет дома, никакой Ольги, ни даже тени ее. Ольга в опасном городе Гатчине, этого я пока не забыл. Откуда она знает мою музыку? Но ты же сам играл ей. Или не помнишь? Хорошо, тогда откуда мою музыку знают другие? Они просто подслушали. Это не ответ. Они и теперь подслушивают, они притаились за дверью и мелководушием своим наострились на подозрительность и соглядатайство. Григорий. Следует ли бояться Григория? Молчи, не отвечай!

Кресло, одеяло, подушка, плед, газ, ночь, ужас, косые следы света на полу. А судья Страшного суда на поверку оказался слишком меланхоличен, преступно меланхоличен, и мы даже решили этим воспользоваться. Кто это мы? Потеря сигнала. С орудиями жалоб к нему не стоило даже и подходить — их он видит насквозь. И мы подходили с оружием веселости, с инструментом самонаплевательства. И вдруг сей судия показался нам человеческим, будто бы рубахой-парнем. Разумеется, оказалось, что он подлавливал нас, проводил на мякине простодушия, на толокне самолюбия. Он из племени хитрецов и прохвостов. Бог подобен стоп-крану с вечною угрозой срыва. Снова Григорий. Собственно, квартетом тромбонов здесь не обойтись, потребуются еще какие-нибудь ухищрения, не инструменты, а именно ухищрения, и Бог будет доволен даже более Григория. Самый скверный Бог, создавший этот самый скверный из миров. Партия труб. Зазор. Промозглость. Отдушина.

Газ, сгорая, сердито урчал, он будто бы со мной разговаривал. По коридору кто-то прошел, я слышал шаги. Ольга? Крадучись. Нет, шаги не были женские. Возможно, водопроводчики. Холодный пот прошиб шею. «Саша», — позвал я, но сам не услышал своего голоса. «Аскольд», — сказал я, и опять неудача. Хуже всего, что я сидел спиною ко входу, значит, на меня могли бы наброситься неожиданно. А где мое оружие, где мое шило? Черт, оно осталось там, где сейчас ходят. Возможно, они уже вооружились моим шилом. Со следами чьей-то крови на рукавочке. Заметят ли они кровь? В темноте, возможно, и нет. Следует все же позвать Ольгу. Но ее нет. Почему ее не было, когда меня принесли домой без сознания? А ты был тогда без сознания? Или ты сам втайне хотел ничего не помнить? Почему Григорий был тогда моею сиделкой? Разве он гуманен, разве он заботлив? Подозреваю, что в Ольге сокрыто что-то ужасное, что-то необъяснимое, что-то полное заусениц и червоточин. Впервые. Осознание. Гипноз незаметности.

Итак, водопроводчики проникли в мой дом и ходят по коридору. Я все слышу, меня невозможно провести. Они что-то ищут? Они на кого-то охотятся? Они от кого-то скрываются? Что привело их ко мне? Нет ответа. Иные игры слов диктует отчаяние, иногда отчаяние и не способно надиктовывать ничего, кроме игры слов. Вы можете заходить! Водопроводчики, вы можете не таиться!

И вот же незримо возник в сердце стены светильник самовозжигающийся, и лампою назвать его было нельзя. Ибо дух света, самый дух света, был в нем несметен, неисчислимы и неописуем. Вот еще просунулись руки пешеходов, бывших всадников, оставивших коней своих на дразнящих пастбищах, именуемых нами райскими, на соблазнительных туманных лугах. Я был черен смыслом и недоговоренностями, я был верноподдан душою и обстоятельствами. Одичание и догадки, сарказмы и колыбельные — полнили каталоги (инвентарные книги) одушевления и вочеловечения. Sic!

Ольга! Я был беспомощен. Я снова хотел позвать ее. Для чего я хотел сделать это? Быть может, пойму позже. Понимание не должно никогда само даваться в руки, но немного дразнить нас, немного запутывать. Если бы Ольга была здесь, она смогла бы спугнуть водопроводчиков, как ласточек с забора, призвать их к порядку, вывести на чистую воду отзывчивости!

Шаги, шаги! И вот уж они — птицы! Они вспыхивали на лету и огненными комьями падали на иссушенную землю. После они были камнями, и мы сами застывали глыбами подле тех. Не смысл свой исполняя, но лишь обособленные и предписанные дисфункции. Внемя ветрам и векам, диффузиям и метаморфозам. Нарастая. Преломляясь. Воистину.

На что же они еще способны, кроме производства шагов? Кто — они? Водопроводчики? Мои мучители? Предположим, на производство отчаяний... Я очень долго писал, целый вечер и еще ночь, это-то меня и сломало. Мир, мир! Похоже, ныне и на нем пора ставить крест! Он несет мне одно лишь гибельное. Правда, и я ему едва ли — животворящее. И быть может, он лишь стоит сочувствия за выслугу бед.

Ничего нет, ничего и не нужно, Бога нет, любви не существует, второй жизни тоже не будет. Стоит ли тогда предаваться этой навязчивой каторге сочинительства? — говорю себе я. Умереть, умереть в нищете и забвении, будучи незаметнее ветра, будучи рассеяннее света, говорю себе я. Со всею силою смысла говорю себе я. Ответа я не жду и не успеваю услышать тот, не успеваю понять тот, ибо сразу же... вздрагиваю и просыпаюсь.

60.

Я слышу, что происходит во всем доме, во всяком его уголке. Хотя всего сразу и не перечислишь. Я слышу даже некоторые мысли тех, кто засел в своих квартирах, забился в своих норах, и уж тем более слышу всякие их разговоры. Музыка есть нечто из набора ангельских инстинктов. Я призван в исключительные солнечные аборигены, невысказанные земные уроженцы; въяве же столкнулся с сумятицею бесцельного, со столпотворением бессодержательного, с ордами абсурдов, с легионами негодяйств. Музыка приучила мой слух к сверхъестественному; а уж ежели это так, то всего лишь укромное или потаенное не стоят даже серьезного обсуждения. Иногда я слышу даже ультразвук. В такие минуты я отчего-то пугаюсь себя гораздо более, чем обычно пугаюсь мира.

В квартире Регины теперь настоящий блокпост. Лестничного значения. Выходя за порог, я уже слышу, что у нее не заперта дверь и что сама она засела в дверном

проеме, высматривая проходящих. Я, значит, буду одним из уловленных ее зверей, говорю себе я, но меня это теперь нисколько не беспокоит. И проходя мимо нее, лишь гордо потрясаю перед лицом ее своей распечаткой, как пропуском.

— Написал! — восклицаю я. — Вот, а вы переживали!

— Написали... — тянет она. — А я сегодня тоже закончу. Хотя мне почти нечего писать. Я никуда не выхожу, только смотрю, кто у нас ходит и куда. Вот об этом я и напишу.

— Напишите!

— Непременно напишу! А вы ему позвонили?

— Следователю? Позвонил, — и это правда: действительно позвонил.

— А он?

— Сказал: «Давно жду. Приносите», — опять правда.

— Вот видите! Значит, он и мой отчет дожидается.

— Непременно дожидается.

— Да-да, прямо сейчас стану дописывать.

— Обязательно!

— Как хорошо чувствовать, что честно выполнил долг.

— Да.

— Пошла, — говорит Регина.

— Идите, — говорю я.

61.

«Ну и каких еще встреч ожидать мне сегодня? — спрашиваю себя, продолжая движение. — Может, с Сашей или с Аскольдом? Я бы тому не удивился».

Но встречаю я не Сашу и не Аскольда, только — Шутко, и не в подъезде, а на улице: он что-то делал под аркой, а быть может, попросту ожидал меня. Он тут же увязался за мной.

— Неспалов, — говорил, догоняя меня.

Я снова пускаю в ход распечатку:

— Несу вашему высокому начальству.

— Я провожу вас немного, — отмахивается тот.

— Я дорогу знаю.

— Проведу вас мимо сарацин, а там уж вы сами.

— Хочу спросить вас, что за оргия была вчера в подвале? — спрашиваю его. — Вы к ней причастны?

— Какая оргия? — удивляется Шутко. — У нас здесь давно уж нет никаких оргий.

— У нас?

— У нас, у вас — какая разница?!

— И вчера вечером ничего не было?

— А чем этот вечер отличается от других?

— А Худбин? Вы же знаете Худбина? Что с ним? — настаиваю я.

— Жив-здоров, полагаю.

— Жив-здоров? А гвозди в руки? А распятие? А хорал?

— Гвозди в руки? Распятие? — недоуменно глядит на меня инспектор. — Да ну, ерунда какая-то! Гвозди, распятия, иконы, животные на задних сиденьях...

— Какие еще животные?! — застыл я.

— Откуда я знаю?! Еноты или хорьки!

- Откуда вы знаете про животных? Про животное?
- Да я ничего не знаю. Это я к слову.
- Что вы еще скажете к слову?
- Не понимаю.
- А о чем вы хотели со мной поговорить?
- Я? — удивился инспектор. — Да это вы хотели со мной...
- Я хотел с вами... — тяну я. — И о чем я хотел с вами поговорить?
- Понятия не имею, — пожимает плечами Шутко. — А что это там у вас такая за симфония, которую вы то ли пишете, то ли не пишете?
- Не пишу, — твердо говорю я.
- Почему?
- С каких пор уголовный розыск интересуется симфониями?
- С тех пор, как за них стали убивать.
- За них?
- Ну... или из-за них.
- Разве убивают из-за симфонии?
- Не знаю, — замылся инспектор. — Разные есть версии...
- Какие версии?
- Разные...
- Что-то вы стали еще *размазаннее* меня, как я погляжу.
- Да уж какой есть.
- О чем мы там?
- О симфонии... Может, вы все-таки напишете ее?
- А вам-то на что?
- Ну... — мнется Шутко, — может, что-то будет тогда попроще...
- Что может быть попроще? — вдруг вскрикиваю я.
- Может, вам станет попроще... может, вы станете поопределенней... Не так, как теперь.
- Что вы знаете про меня?
- Ничего.
- Про меня, наверное, что-то узнает тот, кто прочтет это, — опять помахиваю я распечаткой. — Но, может, и наоборот. А вдруг я — страшный хитрец, не подумали об этом? — усмехаюсь я. — А вдруг там вообще про меня ничего нет!
- Это возможно, — серьезно кивнул головою Шутко. — Но хорошо ли это? Так бы мы вместе могли попробовать обуздать все это. Но если нет, ведь вам одному придется... обуздывать.
- Черт побери! Да вы — просто фантаст! У вас в голове какая-то странная картина, а вы ее считаете реальной.
- Я огляделся с тревогою. Мы стояли на том самом месте, где вечность назад стояли вдвоем с Гольдфарбом и говорили тогда... о чем же мы тогда говорили? Говорили о странном (в том числе и об этом инспекторе), тоже было непонимание, тоже было смешение языков и смыслов, и вот Гольдфарба уже нет, а есть Шутко. Или и Шутко тоже нет, вдруг говорю себе я.
- Шутко, — тихо сказал я. — Вы есть?
- Есть, — так же тихо ответил он. — А вы?
- Возможно, — сказал я.
- Он не удивился. Больше всего меня удивило, что он не удивился.
- Не хотелось утратить этой тишины. Этого умиротворения. Оттого я даже немного склонился к инспектору. Будто к приятелю. И сказал вполголоса:
- А какая плата с меня причтется, если я напишу эту симфонию, вам хоть известно?

— С вас? — почти шепотом, в тон мне удивился инспектор. — Да ведь не с вас, а вам причтется.

— Значит, вы все-таки ничего не знаете, — махнул рукой я. Повернулся и пошел.

— Неспалов, я провожу, — сказал он, меня нагоняя.

Чуть далее виднелся сарацинский пост, а обходить его стороной сегодня было мне вовсе не с руки. Я бы все равно пошел теперь направо. Из киоска высунулись двое бородачей. Шутко пошел прямо на барбудосов, ничуть пред ними не тусуясь и даже все более разводя руки в стороны, будто бы для объятий. Барбудосский десятиначальник вдруг тоже заулыбался и тоже развел руки. Они обнялись с Шутко. Я застыл и взирал на всю картину, едва не разинув рот.

62.

— Друг, — сказал десятиначальник.

— Здравствуй, друг, — в тон ему говорил и Шутко.

— Здравствуй.

— И ты здравствуй, друг мой.

— Какая встреча, — говорил еще бородач.

— Удивительная, — согласился Шутко.

— Да, — сказал десятиначальник.

— Значит, работаете? За порядком следите?

— Следим.

— Хорошо, — говорил Шутко.

— А ты, значит, тоже? Службу несешь?

— Куда ж деваться! — согласился Шутко.

— Твоя служба необходима, друг.

— А твоя, друг, еще и поболее моей необходима.

— Да, — говорил чернородый, — но не все это понимают.

— Не все, — вздохнул инспектор.

— Глупый народ! — говорил барбудос.

— Просто безмозглый, — снова вздохнул Шутко.

— Ужас!

— Это не то слово.

— Даже противно.

— Да, противно, — согласился Шутко, — что у нас такой народ!

— Так!

Я топтался за спиной у Шутко, инспектор будто забыл обо мне. Бородачи, стоявшие подле киоска, поглядывали то на меня, то на своего патрона, беседовавшего с инспектором. Я уж собирался было идти своею дорогой, а там уж будь что будет — не ждать же мне здесь до бесконечности, но тут Шутко словно опомнился.

— А ты знаешь этого человека, друг? — сказал он чернородому.

Тот внимательно посмотрел на меня.

— Это — большой человек, — сказал Шутко. — Очень большой! Как Исаакиевский собор. Ты же видел Исаакиевский собор? Да? А вот это — Неспалов.

— Неспалов? — переспросил десятиначальник.

— Да-да, трудно поверить, но это — сам Неспалов.

— Ну, если это — Неспалов...

— Ты уж, друг, относись к нему полюбяльнее, очень тебя прошу. Во имя нашей дружбы.

— Ради тебя, друг, я на все готов!

- Спасибо, друг, — говорил инспектор.
- И тебе спасибо, друг!
- Я горжусь знакомством с тобой, друг.
- И я тоже очень-очень горжусь.
- Хорошо, — сказал инспектор.
- Замечательно, — согласился десятиначальник.

Они вдруг обнялись, и Шутко поцеловал того в губы, бородач же поцеловал Шутко сначала в одну скулу, затем в другую, затем они расступились на два шага и посмотрели друг на друга с трогательностью. Бородач козырнул мне, и подчиненные его тоже козырнули, я неловко поклонился, и мы с Шутко двинулись в сторону моста. Чинизеллиев шатер громоздился на другом берегу реки. На мосту мы остановились.

— Вот теперь вы можете идти один, — сказал вдруг Шутко, глядя мне куда-то в сторону горла.

— Сдается мне, что вы — плут, инспектор, — отчего-то весело сказал я.

— Не сомневался, что вы это заметите, — парировал он.

— То есть вы собираетесь положить его в пещере и рассчитываете, что на другой день оживет, не правда ли? — сказал я.

— Кто? — серьезно переспросил меня Шутко.

— Худбин, разумеется.

— Это очень даже вероятно, — сказал Шутко.

— Вот в том-то все и дело.

— В чем? — спросил инспектор.

— В ваших ожиданиях, — сказал я.

— Ну... — сказал Шутко, — разве что только в них...

63.

Да, я сделался карикатурой: сгорбленный, шагающий, эксцентричный, бормочущий себе под нос тему из недописанного моего восьмого квартета. И с чего я вдруг заключил, что Шутко как-то причастен к Альфонсу? Мне там вдруг вообразился чрезвычайно любопытный контрапункт — ничего подобного еще не бывало. Не могу сказать, что я люблю небывалое, но я, пожалуй, пребываю в зависимости от него, сижу у него на игле. В контрапункте моем есть что-то ромашковое, перепелиное, домовитое, сатирическое, а еще там слышны грохот разгоняющегося локомотива и рассыпающейся каленой дроби. Сегодня же непременно запишу это. И там будут братоубийственные полутона, перистые пассажи, мизантропические диссонансы, морозные модуляции.

Когда я таков, и походка моя и ужимки делаются замысловатыми, виртуозно вымученными, причудливо-безудержными. Следует себя опровергнуть, чтобы обрести хотя бы видимость достоинства. И все же это слишком слабые средства, еще бормочу я, но фраза долго топчется на месте, так и не сыскав себе завершения.

Возле Русского музея стояли два танка, я взглянул на них искоса и без любопытства. И когда проходил по скверу, позади величественного бронзового истукана, те вдруг разом взревели двигателями, выпустили сизые снопы дыма и заскрежетали по развороченной брусчатке, ринувшись в сторону Садовой улицы.

Ничего особенного. То ли дело мелодии квартета! Мир можно окрасить этими мелодиями, хотя бы некоторыми из них. И еще... Сколько бы ни было перлов, засушиц, темных мест и невысказанностей, но вот наконец рукопись моя окончена.

Назовем ее все-таки отчетом. Отчет мой — дело моего оскуделого мозга. Он теперь обжигает меня. Никогда не думал, что так может обжигать литература. Квартет мой также промелькнул в манускрипте, скорее как идея, скорее как намерение. Отчет будет пуст, неполон без квартета с его причудливыми контрапунктами. Ртутное негодование. Метафизический поверенный. Быть по сему.

Иногда я с холодным любопытством взирал на прохожих. Их было немного. Они — слагаемые мира, мира сего — суррогата, бытия сего — фальсификации. Мы теперь не заглядываем друг другу в лица, тем более — в глаза, мы опасаемся человеческого. Человеческое угнетает и обескураживает, и вместе с тем оно наше неизбежное звание, оно наше неотъемлемое предназначение. Хочешь оболгать, опозлить человеческое — водрузись над почвою в ранге прохожего, в должности простолюдина.

Без приключений я прошмыгнул мимо Мойки и чуть далее — арки Главного штаба; квартет мой меня по-прежнему не разочаровывал. В нем все еще не убывала изобретательность, но если бы даже стала и убывать, я бы добавил... как это сказать... *amogoso* и *santabile*... в нижнем регистре, и, как знать... вдруг тогда гортань моя и сердце захлебнутся красотой, небывалою и необъяснимою! Красотой нужно захлебываться, смыслом нужно изнемогать. Пустотою — тяготиться, сомнениями — обогащаться. Идейка сия — причудливая, веселящая, будто закись азота. Впрочем, с другой стороны, что — красота? Красота — это слишком легко. Красота — моя профессия.

64.

Зато мне теперь не нравились пешеходы. В них я подозревал разнообразную сволочь. Я не подразделял их на всевозможные типы, но — напротив — они были сволочью всем скопом. Дух сволочи пополняет достояние духа мира, слово сволочи приумножает лексиконы человек, своды их миромыслия. Сволочь — богатство городов и держав, сволочь — безусловное богатство, великое чудо, лучшее из явлений природы, источник силы и бессилия, божественный кладезь; все виды, породы и популяции пресмыкаются пред закосневшею, пред водрузившейся над почвою и над историей, над площадями и парламентами, над заносчивыми главами и суетливыми щиколотками, возвышенной и великолепной человеческой сволочью. Конец гимна!

Вот уж Исаакиевский собор оказался по одну мою руку, я стал его обходить, стараясь поменьше поглядывать на него. Да нет же, я его почти не замечал. Собор... он старался меня угнетать, а угнетающим меня я плачу тою же монетой. Кто сказал, что меня можно угнетать вашими соборами?! Сами пред ними пластайтесь и раболепствуйте, сами пресмыкайтесь пред их понурым, свечным и ладанным духом. Сами молебствуйте, сами падайте ниц, сами воскуряйте и священнодействуйте! Вы нищи, наги и микроскопичны пред вашими соборами, а я же, хоть и не выше тех, хоть и не вровень с теми, назначение свое вижу в инаковости, в постороннем и отчужденном духе. Духу собора не смешаться с моим духом и уж тем более над ним не восторжествовать! В инаковости, в одной лишь инаковости — собор мой, отчизна моя, отдушина моя, правда моя, совесть моя, смысл мой и созерцание. Мученик инаковости.

Квартет мой возносил меня над человеками. Он сорвался с привязи, моя музыка нередко срывается с привязи и тогда многое сокрушает на своем пути — рутинное и обыденное. Я достал из кармана визитку Скарбеца и сверился с адресом: я шел правильно. Я подышал на ладони, согреваясь; я очень не хотел прийти к тому человеку озябшим и съезжившимся. Я не мог себе позволить такой роскоши.

А вот и снова Мойка невдалеке, и мост, здесь десятка два прохожих и автомобилей, все в каком-то графическом беспорядке, идущие идут, едущие едут, лишь я озираюсь на месте, оглушенный пронзительностью моего квартета.

Вчера уж я был почти в этом месте. Здесь пара шагов до Дома композиторов. Нет, не пара — восемьдесят пять! Территория позора. Ген одиночества. Гуталиновое чистосердечие. Асфальт здесь сплошь покрыт растоптанными чуингами.

Я подхожу к зданию, возле которого стоит пара машин прокуратуры. У одной разбито лобовое стекло. Я на минуту задерживаюсь: распечатка моя при мне, зато шила я с собою не брал — мало ли что! Так и оставил его валяться в прихожей. Черт! Ольга! Что если она вернется раньше меня. Но нет же, ничего страшного, это всего лишь шило. А если она заметит кровь? Разве на моем шиле есть кровь? Не привиделась ли? Может привидеться кровь? Раздумываю о крови, когда за дверную ручку берусь.

— Неспалов, — вдруг слышу недалеко от себя в стороне.

Это Скарбез, он помахал мне рукой. Разглядываю его, сощурившись.

— Я здесь! — восклицает еще.

Он приветлив, замечаю я, но — странно приветливостью. Что-то деланое, осиное в этой приветливости. Я теперь больше предпочел бы неприязненность и нахмуренный тон. Я сделал десяток шагов в его сторону, он же не шелкнулся. Готовность, но без угодливости.

— Давайте туда не пойдем, — почти не разжимая рта, сказал он, когда я приблизился.

— Я принес свой отчет.

— Я знаю.

— Куда мы пойдем?

— В одно место. Здесь совсем рядом. Там можно поговорить.

— Поговорить? — переспросил я.

— Да, — сказал следователь.

65.

Мы были в Почтамтской улице. Шли очень медленно, я — по левую руку Скарбеза, плечи наши иногда соприкасались. Мы молчали минуту, прежде чем он не заговорил сызнова.

— Сарацин сидит в моем кабинете. Прислали недавно. Воссел напротив меня и взирает совиным взором. Вроде он — власть! И ничего не попишешь!

— Да? — коротко вставил я.

— Представьте себе. Сидит и ощущает себя превосходно. Ощущает себя хозяином положения. Это нормально, скажите?

— Нет, наверное.

— А у меня, между прочим, за плечами девятнадцать лет службы! — воскликнул Скарбез.

— Куда мы идем?

— Почти пришли, не беспокойтесь! — захлопотал следователь.

Я промолчал.

— Иногда, знаете, не хочется заходить в свой кабинет. Нет, он — нормальный человек, высшее образование, специалист, наверное, неплохой. Вежливый, отзывчивый, не курит... но речь его, выговор... Бежать хочется! Ну, да вам это не интересно! А что интересно? А знаете, кстати, сколько сейчас всякого происходит. Необья-

зательно криминального! Происходит странное, необъяснимое. Обычные люди узнают что-то из телевизора, да и то — сотую часть, а мы здесь — из первых рук! Может, нас захватывают инопланетяне? Как вы думаете?

— Никак не думаю.

— Вам хорошо. Вы можете себе позволить *никак не думать*.

— Да.

— Вот мы и пришли, — сказал Скарбез, заводя меня во двор, глухой, тесный и разветвленный.

Мы остановились пред железною дверью парадного.

— А как вам такая история, Неспалов? — неожиданно усмехнулся следователь. — Обычный телефонист... работал, тянул свои кабели... залезал в люки, все как положено... и вдруг пропал. Почему пропал телефонист? Почему не пропал булочник или монтировщик декораций? Или менеджер по рекламе? Или композитор? Может, его съели — того телефониста? Или он сам истребил себя? Спросите, почему он был один? Обычно телефонисты работают небольшими бригадами. Нет, он тоже работал в бригаде. И пропал почти что на глазах у бригады. Залез в люк — и вдруг нет его. Вот в чем странность. Вот в чем метафизика и иносказание.

— Черт! — с досадой воскликнул я.

Железная дверь отворилась со скрежетом. Мы со Скарбезом шагнули в темноту. Он полез в карман за фонарем, но тут же налетел носком на первую ступеньку лестницы и выругался. Потом узкий сноп света все же заскакал по ступеням, и мы стали подниматься. Лестница была гадкой. Кривой, узкой, с разломанными перилами, с разбитою штукатуркой на стенах и грибком да паутиной на потолках. Третий этаж, куда мы поднялись со следователем, был этажом последним.

— А что, Неспалов, — вдруг ухмыльнулся Скарбез, — правда соблазнительно — взять вот так да и пропасть? Или взять да и поломать свою судьбу? Безжалостно. Безвозвратно. Правда красиво?

Я с ужасом посмотрел на своего провожатого. Не рискую ли я, входя вслед за ним в эту странную квартиру, которую он только что открыл своим ключом? Но раздумывать было поздно. Мы вошли.

— Наша конспиративная квартира, — сказал тот.

66.

Квартира была ужасной, запущенной. Чрезвычайно тесная прихожая со скрипучим дощатым полом; такой же тесный коридорчик вел в кухню, за поворотом оно-го виднелась дверь в туалет, еще из прихожей можно было попасть в комнатенку метров восьми, а также в другую — метров двадцати. На полу прихожей валялись тряпки, пивные бутылки были набросаны горой. Скарбез завел меня в двадцатиметровую комнату, здесь тоже были бутылки, на столе, застеленном прожженною клеенкою, валялись объедки, засохший хлеб, пустые консервные банки, глубокая суповая тарелка, кружка с засохшим чаем, постель была разложена, вместо простыни использовалось старое покрывало, одеяло с пододеяльником сгрудились здесь же вперемежку, две подушки — одна на другой — образовали горный хребет с седловиной, обои в разных местах отслаивались от стен пластами. Впрочем, были книги, много книг. Мельком я увидел Гомера, Кафку, Элиота, Натали Саррот. Два комнатных оконца утыкались прямым в стену соседнего дома.

— О чем мы с вами говорили? — задумался следователь.

— Ни о чем. Я принес отчет, который вы просили меня написать. Я отдам его и пойду, если у вас больше нет ко мне вопросов.

— Давайте, — равнодушно сказал Скарбез. Он принял от меня распечатку и небрежно бросил ее на постель.

— Я так и думал, что вам на самом деле наплевать на то, что я должен был написать, — с изрядною покоробленностью говорил я.

— Вовсе не наплевать! Прочту с удовольствием... когда-нибудь... Да вы, Неспалов, присаживайтесь.

— А есть куда? — буркнул я.

— Да, квартира-то конспиративная нечиста. Сядешь — непременно в пыли извошишься. А еще, знаете, насекомые ползают, с усам такими длинными, как антенны... да вон, вон — побежал!

— Зачем предлагаете?

— Тщусь гостеприимствовать. Хотя сам здесь в гостях, — вдруг подмигнул он мне.

— У вас какие-то вопросы ко мне?

— Вопросы? — удивился Скарбез. — К вам?

— Тогда я пойду, — сказал я в замешательстве.

— Как это так пойдете? Вы же сами хотели о чем-то спросить меня!

Кажется, сегодня была уже похожая сцена, сказал себе я. Сговор возможен, осталось только понять причину его. Вы гнать решили меня при посредстве зловещих намеков и недостоверных выпадов, сказал себе я. Жизнь же моя полна черного юмора и несметного содрогания. Я всегда втайне жаждал для себя такой жизни, иной жизни я и вообразить не мог. Терпение бумаги. Мне вдруг почудилось, что в квартире есть еще кто-то. Черт побери, я был твердо в том уверен. На кухне кто-то прятался, старался не двигаться, чтоб не скрипнули половицы, и даже не дышать. Но вот мог ли он нас слышать, как слышал его я? Мы говорили, а он таился — в том немалая разница. Хотя вряд ли у него был слух, подобный моему.

— Спрашивать мне у вас нечего, — помедлив, твердо говорил я.

— Ну и не спрашивайте! — весело бросил Скарбез. — Я и сам отвечу.

— На что ответите?

— Да вы так не напрягайтесь, Неспалов! Это вы из-за бумажек своих, что ли? Сказал же, прочту обязательно! Не в бумажках дело! А в чем, спрóbите? А в вас, дорогой вы наш! В ваших нервах. В возбудимости вашей. Я в два счета вам все объясню. Вас самого объясню вам, Неспалов. Хотите? Вижу, что хотите. А ведь скажи я вам, что ничего объяснять не стану, так обидитесь, поди! С кулаками на меня броситесь. А может, и не с кулаками, а с чем похуже. Есть ведь у вас что похуже кулаков?

— О чем это вы? — с трудом разжав губы, спросил я.

— Болтаю просто. Да только ведь сейчас каждый или с ножом ходит, или с шилом, или с заточкой, кто-то себе электрошокер покупает — все вооружены. За доблесть даже полагают — пакость какую-нибудь в кармане таскать. И ведь ладно — боялись бы за себя, а то и не боятся, и на смерть с улыбкой пойдут, а без чего-то колющего да режущего из дома ни шагу! Хоть даже маникюрные ножницы. Скажете, что они-то не оружие? Согласен — не оружие. А в глаз тыкнуть можно. Разговорился я! А я ведь еще и не то могу. Про что вы хотите? Или вы ни про что не хотите? А, Неспалов?

Я снова смотрел на него с ужасом и негодованием. Что за человек такой — Скарбез!

— Ну, так что? — с усмешкою говорил он. — Объяснять мне вас?

— Объяснять, — с запинкою говорил я.

67.

— Merci, avec plaisir, как говорится. Итак... живет человек. Не старый еще, но уж и не первой молодости. Небесталанный, отрицать не стану. Даже, можно сказать, художник. И слава-то у него была. Куда же без славы? И деньги водились... А потом как-то так — всего стало меньше. Жизни, денег, славы, таланта... Ему бы встряхнуться, рвануть! Может, уехать за границу, напомнить там о себе! Но нет, не уехал, не напомнил! Что ж, честь ему за то и хвала! Где родился, там и пригодился. А тут в стране кавардак начался. Неразбериха. Растерялся наш герой, приуныл, мысли всякие полезли. А ведь когда мысли лезут, это уж начало, так сказать, конца, Неспалов. Гнать надо лезущие мысли! Головы их гадкие сворачивать. И тут вдруг — удача! Заказ! Особенный! Редкий! Ясное дело — энтузиазм, возбуждение, даже мысли головы свои попрятали! Начал работать, а работа не идет. А еще выясняется, что заказ-то дан не ему одному. Тут уж обида! Страшная обида, смертельная. И начал он снова, как говорится. Туда-сюда. И везде обиду свою, вроде счита, вперед себя выставляет. Почто, мол, не ему одному заказ отдан, а чуть ли ни всем сразу?!

Губы мои, должно быть, побелели, пока я слушал разболтавшегося Скарбеца. Черт побери, с его стороны это была очень грубая игра! Он лгал и сам знал, что лжет! Быть может, он хотел поразить меня своею осведомленностью, но осведомленности его была грош цена. Осведомленность — отравленный источник. То, что он знал, знают теперь все. Впрочем, я решил его не прерывать: пусть себе говорит, что хочет.

— А тут еще эти убийства... страшные, темные, загадочные. Одно за другим. И все как в артиллерии: недолет, перелет, недолет, перелет! Но — жуткие такие все недолеты и перелеты! Так что кажется, что аккуратно прямо в тебя и угодило. И вот он начинает примерять все на себя: а сумел бы я — этак вот раз! — и в самое сердце?! На это не каждый решится! Но уж если решится, так не оторвется от того никогда! Верьте слову, Неспалов! Это — дело стоящее! Это затягивает! Нырнешь раз с головой — так не вынырнешь!

— Что вы такое несете! — вскричал я.

— Ну, — сказал Скарбез, — этакий вот баритончик художественный прорезался! Да только кричать-то смыслу большого нет: дом аварийный, старый — дай бог, человечка два-три на разных этажах затесались. Но криками их не прошибешь — и сами покрикивать мастера! Окошечки же в стену смотрят, как видите, дорогой мой. Нет, ну, в самом деле, не в форточку же вам сигать, коли наш разговор не заладится! А дверь заперта.

— Так это...

— Ой, ну не надо, Неспалов, пошlostей! — перебил меня следователь. — Дескать, ловушка! Никакая не ловушка! Вы ловушек настоящих не видели! Профессионалами нормальными устроенных. Подумаешь! Собрались два приятных человека и беседуют себе...

— О чем? — потерянно спросил я.

— О том о сем! О том, как после одного недолета художник наш кладет в карман шило и идет себе куда глаза глядят. А нельзя ему с шилом в кармане ходить.

— Почему?

— Потому что мысли всякие заводятся.

— Какие мысли?

— Всякие! О том, чтобы, например, самому попробовать.

— Что попробовать?

— Да мало ли что попробовать можно! Например: а выйдет ли у меня с одного удара, чтобы сразу наповал, или надо долго кромсать?! А долго кромсать — это значит себя уважать перестать. У других-то выходит красиво!

Я заметался по комнате. Стул был у меня на пути, я оттолкнул его.

— Да вы спокойней, Неспалов! — стал уговаривать следователь. — Может, чаю с молоком хотите?

— Не хочу! — крикнул я.

— И я не хочу! К тому ж молока нет!

— Плевать на ваш чай!

— Конечно, плевать! Вот и художник-то наш плюет на все — и на чай, и на себя самого, и тут вдруг у него обмороки странные завелись. Да только обмороки ли это? Беспамятства ли? Может, он хочет все забыть? От чего-то избавиться?

— От чего?

— Чужая душа — потемки, Неспалов. А потому не спрашивайте.

— А я думал, вы все знаете.

— Всего даже Господь не знает, куда уж мне-то все знать, скромному Скарбезу?!

— Клоун проклятый! — вдруг выпалил я.

— Отчего ж не клоун-то! Клоунство ясность рассудка сохранить помогает. А шило-то в кармане у художника нашего, кажется, даже раскаленным делается. Бок ему жжет, в сердце ему впиивается. Или нет: оно как стрелка компаса — само поворачивается да художником нашим вертит.

— Вертит?

— Про художника-то дальше хотите? Интересно?

— Что там еще дальше?

— О! Дальше совсем интересно! Вот он подговаривает нескольких своих приятелей, и под окнами своего более талантливого... или более удачливого коллеги устраивают дебош.

— Что? — воскликнул я.

— Дебош, — невозмутимо повторил Скарбез.

— Я слышал слово! — крикнул я.

— А что ж тогда спрашиваете?

— Я не устраивал дебошей под окнами!

— Конечно, не устраивали. А при чем здесь вы?

— У меня под окнами устраивали.

— Ай-ай-ай, у знаменитости!

— Хватит паясничать! — крикнул я.

— А в один прекрасный момент (у него в кармане шило) и он видит ребенка.

— Какого ребенка?

— Ну... какие бывают дети? Я даже не знаю. Мальчики или девочки... но, главное, тот совершенно беззащитен, совершенно во власти нашего художника... он думает: а что если попробовать! а потом думает: нет, я все же сдержусь... и он сдерживается!

— Сдерживается?

— Да. Но вечером, уже дома, замечает, что рукоятка его шила в крови...

— Как же в крови, если сдерживается?

— А может, и не сдерживается. Напрасны, что ли, были его беспамятства?

— Кто вы такой? Чего добиваетесь?

— А еще он вдруг полюбил лазать по чердакам. Этак вот ни с того ни с сего! А потом там находят трупики.

— Чьи это еще трупики?

— Детские.

- Водопроводчики! Это ваши водопроводчики?
- Водопроводчики? — удивился Скарбез. — Я водопроводами не занимаюсь.
- И что дальше?
- О чем вы, собственно?
- Арестовывать меня станете?
- Кого арестовывать? Вас? Знаменитость? Вы точно нездоровы, Неспалов! За что же вас арестовывать?
- А для чего же все это мне сейчас рассказали?
- Рассказал? А что ж такого я рассказал?
- Про шило. Про трупики.
- А что ж, у вас есть шило?
- Может, и есть, — отчаянно сказал я.
- Разрешите взглянуть?
- Оно не с собой.
- Как не с собой? Разве ж можно теперь выходить из дома без шила?
- Вы-то ведь вышли.
- С чего вы решили? — сказал следователь.

Он медленно полез в карман, я с ужасом смотрел за его рукой. Наконец он извлек оттуда шило с толстой деревянной рукояткой, вроде моего, только крупнее. Он показал мне его издали, острое, как и у меня, было упрятано в «футлярчик» от простой шариковой ручки.

— Вот, — сказал Скарбез.

68.

Я хотел знать, нет ли там засохшей крови на рукоятке, и даже вытянул шею, сиюсь разглядеть это. Скарбез покрутил кулаком с зажатым в нем оружием и вдруг, издав резкий звук, вроде «хех», с размаху всадил шило в столешницу. Футлярчик разлетелся, шило упруго завибрировало на своей вострой ножке.

Теперь будто бы маски слетели с нас обоих. Мы со Скарбезом стояли по разные стороны стола, меж нами было шило, оба мы смотрели на него, оно было ничье, оно могло бы достаться тому, кто ловчее.

— Точность удара... — прошептал мой собеседник. — Это так важно, Неспалов.

— Что? — тоже шепнул я.

— Ошибка невозможна. Вы играете на рояле в концерте... и берете вместо ми — ми-бемоль! Что будет? Смешки, стыд, досада... Но там ваши поклонники, ваши сочувствующие. А мы всегда во враждебном окружении...

— Кто — мы?

— Просто — мы!.. Нам ми-бемоль взять никак нельзя. А уж если ми-бемоль все-таки выскочило, так нужно истребить всех, кто это услышал. Сразу же! Чтoб не успели растрезвонить: «Акела промахнулся! Мастер разучился убивать!» Тут уж надо и устройство сердца знать досконально. Вы знаете устройство сердца, Неспалов? Клапаны, желудочки, артерии... Расположение ребер. Если женщина — новая проблема! Грудь! Лучше, конечно, бить со спины. А если — застежка от лифчика? Иногда попадают довольно внушительные!

— Вы так шутите? — опасно прошептал я.

— Какие уж там шутки? И ведь сами знаете, что я не шучу. Потому что и вы тоже нисколько не шутите, не правда ли?

— Наверное, нет, — сокрушенно говорил я.

— Вот! А потому... не надо никаких женщин, с их грудью, с их застежками. Лучше — деточки, маленькие, слабые, беззащитные... Вы любите, когда деточки беззащитны?

— Я не убивал никаких детей!

— Может, не убивали. Может, убивали. Неважно.

— А что же?

— Наш разговор важен. Наше, так сказать, друг к другу доверие.

Предо мною было будто пресмыкающееся, и оно заворачивало меня. Я смотрел на шило, воткнутое в стол, и Скарбез смотрел тоже на шило. Меж нами было странное равновесие, необъяснимое, зыбкое. Нельзя было перечить этому психопату. Невозможно было и затевать что-либо против него. Он внимателен, он угадает мою мысль, он опередит меня. Даже если схватить бутылку с пола и ударить Скарбеза по голове, он все равно прежде ударит меня своим чертовым шилом. Я старался не думать ни о бутылке, ни о голове, ни об оружии Скарбеза. Как мало во мне навыков! Гораздо меньше, чем необходимо для существования!

— Как же «неважно»? Что вы такое говорите? — с горечью бормотал я. — Если это — я... тогда... И еще эти беспамятства, тут вы правильно заметили... я очень плохо сплю, почти не сплю вовсе, только сижу, мучаюсь, всякие картины и мысли лезут, а уснуть не могу. А на чердаке я только раз был. Я об этом написал... в отчете. Но это — другое. Мне просто нужно было пройти незаметно... А еще ночью я слышал, как по квартире кто-то ходит. Возможно, водопроводчики. Они приходили за мной, я знаю. Но не зашли почему-то.

Я уже ясно видел, что Скарбез убьет меня. Ему это раз плюнуть, ему это что муху прихлопнуть. Он безжалостен, жизнь человеческая для него — тьфу! А лишить жизни — ни с чем не сравнимое удовольствие, он сам это сказал. Быть может, при других обстоятельствах я бы его понял, я бы даже ощутил что-нибудь сходное; во всяком двуногом немало подспудного и неосознаваемого, в том числе и самого безобразного свойства. Но теперь... А впрочем, может быть, и теперь! Я дрожал, и еще — губы... Черт! Не придерживать же мне их пальцами! Он исколет меня всего, он нанесет множество ударов: сорок... или восемьдесят пять.

69.

Сколько вдохов груди осталось до моей смерти? Это зависело от него, от его прихоти, от его внезапного помрачения. А во мне теперь, как на грех, почти не осталось независимости и холодного пламени, во мне не осталось ни капли достоинства: всю жизнь собирался встретить смерть с достоинством, но именно теперь оказался не готов. Если бы хоть не губы... если бы не они, все было бы много проще!

Скарбез, должно быть, увидел мой страх. Он стал издеваться надо мною: глядя в глаза мне, вдруг дернул рукой, будто собирался схватить шило. Я тоже дернулся. Он еще раз проделал свой трюк. Я дернулся снова. Мне с моими повадками обывателя и простолюдина никак не сравниться, разумеется, с этими тренированными людьми: офицерами, сарацинами, спецназовцами, бойцами. Они хладнокровнее, они сильнее, они увереннее. Скарбез захохотал.

— Нам крови надо! — крикнул он.

— Какой? — пролепетал я.

— Свежей, — сказал Скарбез.

— Моей?

— На что нам ваша?! Надо, чтобы вы ее принесли.

— Что? — подавленно спросил я.

— Свежую кровь.

— Чью?

— Живую. Свежую. Детскую. Неважно. Когда какой-нибудь там Ермолай, Федот или Матвей за шило беретса — это хорошо, конечно, но это всего лишь Ермолай, Федот или Матвей. А вот когда — Неспалов! Нам потоп нужен. Абсурд нужен. Нам светопреставление требуется. Только это спасти может.

— От чего?

— Что? — спохватился Скарбез.

— От чего может спасти?

— От лукавства власти хотя бы! — твердо сообщил следователь. — Народ за всеми чертами живет: бедности, бессмысленности, безнадежности, преступность уличная в тридцать раз подскочила, а они мошны себе набивают. С южных островов не вылазят, брюхи свои отвисшие под солнцем нежат. И все говорят, говорят, такие все либеральные, такие все складные! А вот когда Рихтер кого-нибудь придушит, когда Солженицын за топор схватится, когда Неспалов шилом ребеночка кольнет, вот тогда с пустословием будет покончено. Тогда придется серьезно задуматься, тогда придется выводы настоящие сделать! На весь мир прогрехочет, вся европейская шваль — профессора, министры, правозащитники — захлопочут! Диссертации настрочат, ученые степени станут отхватывать. Гранты, субсидии, стипендии, дивиденды! И все на наших светопреставлениях, все на нашем бедламе! Вы только вообразите себе! Неспалов — маньяк! Рихтер — душитель! Мамлеев — отравитель, Уланова — садистка, Шнитке — расчленитель трупов!

Я уж стал уставать от этого ужасающего умственного конфитюра. Я был обессилен, измучен, пот стекал у меня по вискам.

— Не трогайте мертвых... — тихо попросил я.

— Ладно, — усмехнулся Скарбез. — Буду живых.

— Я не стану никого убивать, — еще тише сказал я.

— А что если вы уже?

— Н-нет... этого не может... но все равно... даже если и так... я больше не стану.

Я остановлюсь.

— Не выйдет, — сказал Скарбез. — Вы еще не всех... кого были должны.

— Кого? — мучительно спрашивал я.

— А милую барышню, что навещает вас, — сказал следователь. — А десятилетнюю Соню, которая сделалась такой капризной... волков себе выдумала...

— Нет, — сказал я.

— Да, — сказал Скарбез.

— Нет! — крикнул я.

— Нужна мода на интеллигента с шилом в кармане, — убежденно говорил Скарбез. — Заметьте: не с фигой в кармане, как в былые времена, а именно с шилом. При этом традиционный хлюпик, очкарик и размазня, над которым насмехается наша фельетонистика, преобразится необычайным образом! Нужна организация... но она уже есть. И еще важны экономические рельсы, юридические рычаги! Маркетинг, баланс, учредительный договор, жесткая иерархия, курсы повышения квалификации, система бонусов и поощрений, психологическая реабилитация, социальный пакет.

— Нет! — заорал я.

Я думал о том, кто прячется в кухне; наверняка это сообщник Скарбеза, а стало быть, шансы мои даже не ничтожны — они просто отсутствуют. Поначалу я боялся этого второго, как боялся и Скарбеза, но вот вдруг они мне сделались безразличны. Я с силою толкнул стол, ударив Скарбеза выступающей частью столешницы в бедро

возле паха. Он взвыл, отлетел к постели, но все же выправился и ринулся в мою сторону. Я хотел было выдернуть шило, но Скарбез успел ухватиться за его рукоятку первым. Я снова толкнул стол и еще швырнул стул ему под ноги, на тот случай, если он погонится за мной. Скарбез выдернул воткнутое шило, но в ту же секунду я схватил со стола тарелку с засохшими остатками супа и с размаха ударил ею Скарбеза по голове. Тарелка разлетелась. Кровь хлынула из рассеченной его головы, он упал, но видно было, что ненадолго. Он стал вставать, я с ужасом глядел, как он встает. Я схватил еще пустую бутылку, но ударить ею Скарбеза уже не решился, а только швырнул в его сторону. Бутылка легко задела его темя, не причинив вреда, и ударилась в стену. Более смотреть на побоище или участвовать в нем я не мог и, вопя что-то нечленораздельное, бросился вон из комнаты.

Ключ? Где может быть ключ? Он где-то там, у Скарбеза. Вышибить с разбегу дверь? Разве ж это возможно? Топот Скарбеза был у меня за спиной, я слышал его превосходно. Два метра, потом метр, я всего лишь хотел продлить жизнь на мгновение или два. Я повернулся лицом к обезумевшему следователю, отшатнулся, но вот вдруг наступил на пустую бутылку, та вывернулась из-под ноги, и я рухнул на пол, растерянно и нелепо.

Скарбез бросился в мою сторону, бросок его был даже не долгим, но каким-то, как мне показалось, вечным, я отползал в угол, вдруг еще что-то мелькнуло надо мною и сбоку, я хотел было закрыться руками, но их не хватало на то, чтобы закрыться всему сразу, и был крик, совсем близко, и еще один, я тоже вскричал, и тут что-то навалилось на меня, темное и тяжелое.

70.

Человек, рухнувший на меня, захрипел, судорожно дернулся четыре раза и вдруг обмяк. Мне было тяжело, мне было страшно и неудобно. Я начал сталкивать его, но провозился с телом секунд десять. Надо мною нависал... Григорий, в руке он держал шило. Другое шило валялось предо мной на полу.

— Это... ты? — с ужасом говорил я.

— Я, — бесцветно ответил Григорий. — Один из...

— Из... кого? — спросил я. Хотя и сам уже знал ответ.

— Угадай, что ли!

— Ты... тоже?

— Почему — тоже? — спросил он. — Ах... этот! — он с ненавистью взглянул на тело Скарбеза, скрючившееся подле порога маленькой комнаты. — Я давно хотел... Мне даже снилось...

— Снилось? — переспросил я. И тут же спохватился: — А ты как... здесь?..

— Живу я тут! — нервически усмехнулся мой собеседник.

— Ты? — изумленно говорил я.

— Ты запомятовал. Квартира у Исаакиевской. А сколько раз были здесь их сборища! И Григорий тогда... на кухне сиди! Как недочеловек какой-нибудь... А я разве недочеловек? А, Неспалов? — Григорий внимательно рассмотрел свое шило, потом медленно отер иглу о пальто Скарбеза. Боже, как голубы его глаза, оказывается! Я даже вздрогнул от этой пронзительной голубизны. Я боялся взгляда Григория. Он такой же, как и Скарбез, ничуть не менее опасный. Из огня да в полымя. Праздник последнего мига.

— Ну, что ты, Григорий, — сказал я. — Нет, конечно.

— А мне, знаешь, просто поговорить хочется. А получается, что и не с кем. Ты меня гоняешь...

— Прости... — прошептал я.

— А ведь я все-таки поэт. Я — поэт? — тревожно переспросил он.

— Конечно.

— А я и с мертвыми моими иногда говорю. Но они думают, раз я их убил, значит, со мной и говорить нельзя. А разве я — плохой собеседник?

— Нет, Григорий, — твердо сказал я. — Не плохой.

— А почему ты так думаешь? — настороженно спросил тот.

Я смотрел ему прямо в глаза, я старался, чтобы ни мысль моя не читалась, ни ощущения, я старался спрятать, сокрыть и ту и другие.

— Ты умеешь слушать, — сказал я. — Чего, возможно, нет у меня. Ты странен и парадоксален, а это бывает интересно. Наконец, потому, что тебе есть что сказать. У тебя много за душой. У тебя — опыт...

— Опыт? — усмехнулся Григорий.

— Прости... прости... — снова сказал я.

— А ты собак любишь?

— Никогда не думал об этом.

— А я однажды щенка взял... приبلудился на улице... Я назвал его Сартром. Правда ведь, Сартр похож на щенка? У него психология щенка и мысли щенка, он жалок, как щенок. Он думает, что ножку задрал на жизнь и тем самым возвысился над жизнью! А на самом деле он сам описался перед жизнью. Надо ж! «Тошноту» какую-то выдумал! Да у него кишка тонка! И тошнота его — *тонкокишечная*! Он сам оказался бесконечно ничтожнее жизни. Эти французы чрезвычайно раздули значение своей мысли. А сами просто сдрейфили перед смертью. А это так просто, Неспалов! Ты приучи себя к смерти, к конькам отброшенным, возлюби смерть свою и сам увидишь, как изменится направление твоей мысли. Как аромат ее переменится. Ты понимаешь?

— Что стало с твоим Сартром? — спросил я.

— Подох, — брюзгливо отмахнулся Григорий. — Он надоел мне и подох.

— Подох потому, что надоел? — машинально уточнил я.

— Ты думаешь, я на нем удар ставил? Нет, удар у меня тогда уже был поставлен.

Меня научили.

— Кто научил?

— Наставник. У нас — наставники. Думаешь, это все — любительщина? Ну, уж нет! А теперь я сам наставник! Он тебе про маркетинг успел сказать? — пнул Григорий тело Скарбеа.

— Успел...

— А что за маркетинг такой? А? Вот то-то и оно, — усмехнулся Григорий. — Маниакально-сетевой маркетинг. Стажер должен ухлопать троих и подготовить трех стажеров, тогда он становится наставником. Подготовивший трех наставников становится мастером.

— А он? — указал я на Скарбеа.

— Он! — презрительно скривился Ермаков. — Называл себя мастером! А на самом деле даже убивать толком не умел. И с тобой не смог справиться.

— Он бы справился. Если бы не ты.

— Он говорун был: гипноз, медитация, психологические воздействия.

— Да.

— Говорят, за него убивали другие, а он приписывал себе их подвиги. А это же некрасиво, Неспалов!

— А Сотников?

— Стажер! — презрительно протянул Григорий. — Прескверный. Чванливый, туповатый, нетерпеливый. А из тебя бы вышел хороший стажер.

— Григорий, зачем это?

— Чтобы смешалось все, чтобы перепуталось! Чтобы было большое возмущение. Чтобы незаконный было много! Миллион... Ты, Неспалов, на народ наш взгляни! Он ведь — труха, блевотиной слепленная, перегаром оваянная, но в дерзости своей отчего-то выдает себя за драгоценный камень, даже не поделочный. А тут вдруг — такое горнило, плавильная печь. И вот тогда... Все излишнее выгорит, выпарится, и самоцветы подлинные заблестят! Мы вот говорим: Ницше, Ницше! А что — Ницше?! Ницше народу нашему не указ! Народ наш в деле презрения к человеку любого Ницше переплюнет. У нас будет тысяча Ницше в день. Десять тысяч Ницше! И я теперь тебе любого Фридриха переплуну: он-то из головы брал свое, а я — из опыта. А опыт — важнее головы, он важнее извилин, он в сердце клокочет, он грудь разрывает!

Григорий перевел дух.

— Убей одного — тебя в тюрьме сгноят. Не посмотрят даже, что ты — Неспалов. А убийце миллиардов воздвигают храмы! Тому, кто век человеческий обрывает, поют псалмы, возносят молитвы! Кто тебя убивает, тот и есть твой бог! Никаких других богов нет у человека. Именно Он так устроил, что и тебе, и мне умирать, может, в мучениях нечеловеческих, а мы Его держим за добрячка! Какое заблуждение! Но при том привлекательное, заметь! Будем как боги, как говорится! То есть будем, как боги, *убивать*!

— А я?

— Ты вовлечен, втянут, — сказал Григорий, — но ты невинен, будто младенец.

— Я не убивал никого?

— Откуда мне знать?! В сердце своем ты каждый день убиваешь... но все равно невинен. Ты — странный зверь, Неспалов!

— Григорий... — сказал я. — А ты *об этом* пишешь... стихи?

— Пробовал. Не могу. Надо бы — а не выходит!

— Может, тебе было бы легче.

— Может быть...

Мы все еще стояли в прихожей, в метре друг от друга. Григорий был будто бы миролюбив, к тому же он только что спас меня от Скарбеца. Хотя настроение его могло внезапно перемениться. Зловещая околесица.

— А что теперь с этим? — кивком головы указал я на Скарбеца.

— Пусть, — пожал плечами Григорий. — Окна только открыть, чтобы не вонял дольше.

— А ты? А квартира?

— Мне немного осталось. Может, до конца дня. Его свои же искать станут, а про меня они знают. И про тебя тоже.

— Почему про меня?

— Ну а что ты хотел? Все знали, куда ты направился.

— Я не убивал!

— Конечно. Ты его только тарелкой треснул.

— Но ты же скажешь, что это не я, Григорий?

— Ладно, ты иди, Неспалов! — угрюмо вдруг говорил мой собеседник. — У меня еще дела есть.

— Идти? — засуетился я. — А ключ?

Григорий молча отпер дверь, я хотел было выскользнуть сразу, но все-таки задержался.

- Григорий... тебе хорошо, когда ты делаешь это?
- Может, и хорошо, — хмуро сказал тот. — Но и хреново! Колотит всего!
- Но что тогда? Власть?
- Власть. И хорошо. И колотит. И могущество. И любопытство. И праздник. И все сразу.
- Скажи... Стажеры, наставники, мастера... а еще кто-нибудь есть?
- Говорят, есть гроссмейстеры. Но их не видел никто. Какая ж ты все-таки сволочь, Неспалов, — вырвалось вдруг у Григория, — что не дал мне на пиво, когда я просил!
- Прости! — пробормотал я и метнулся за дверь.

71.

Так много лжи, приблизительного, недостоверного у властителей дум! Вот, например, ад — это не другие, вовсе не другие, но — напротив — это собственные твои ощущения, когда сам себе становишься невозможен, когда пытаешься спать и не можешь, ибо во сне, в приближении ко сну, в выпадениях из него — смерть, смерть, неизбежная во всех отношениях, когда не можешь дышать — не хватает воздуха и хочется разодрать, рассечь свою грудь, ибо в ней ужас и бессилие, боль и отчаяние. Но как же другие? Какие приемы и уловки, какие формулы и приспособления изобретают они, чтобы примириться с существованием своим? — бормочешь себе ты, отчаянно вопишь себе ты, производя в себе новые болезнь, бред и замирание сердца; но, во-первых, что тебе другие, а во-вторых, быть может, сей ужас, сей озноб, есть твой персональный ужас и твой персональный озноб, есть твой индивидуальный и неотъемлемый ад. Что тебе существование чужое, когда ты не знаешь, что тебе делать с существованием твоим?! Ты ведаешь, что значит — не находить себе места? Ты знаешь, как это бывает, когда ненавидишь грудь свою за безграничность ее расширения. Воздуха! Жизни! Смысла! Красоты! С кем ты теперь говоришь? Так... с лучшим из моих слушателей, с моею тоской!

72.

Я мчался по Фонарному переулку, средоточию былой разночинности, дома с двух сторон переулка будто бы сдавливали меня, кажется, желая исторгнуть из меня последние человеческие соки. Свободен ли я? Во всяком случае, пока жив. Значит, я — не убийца? Этого пока никто не подтвердил. Мой отчет остался там же, где труп следователя. А это, черт побери, неопровержимая улика! Меня невозможно не опознать по моим запискам. И там, в тех записках, глыбы существительных, замшелые и выветренные, гипнотизирующие дефиниции, глаголы в их тяжелой и недвусмысленной поступи, и также местоимения, которые сродни насекомым, жалящим и жужжащим, — там все смешалось в беспорядочной и сбивчивой речи, затекло патокой, засверкало смарагдами. Снова я не о том.

Итак, я жив, но услуга, которую оказал мне Григорий, пожалуй, была скверной, какой-то *картавой* и неудобоваримой. Скарбеза скоро хватятся; многие знали, что я шел к нему. Труп, мои записки и мои отпечатки... А может, им и не надо, чтобы я убивал. Может, им достаточно обвинить, оклеветать меня? Может, это и есть звено их сатанинского плана? Кто они? Мне не нравился фатализм Григория. Ясно, что он не видит для себя выхода. А если так, то не станет ли он снова опасен?

Сейчас — приступ лояльности, через час — приступ безжалостности — откуда мне знать, как далеко заводят Григория его помрачения!

Стихи! Лучше бы ты, как прежде, писал стихи, свои немудреные, головоногие вирши! Когда, в какую минуту, ты, Григорий, впервые споткнулся и соскользнул в эту мутную и беспорядочную клоаку, в это скопище темных помыслов, в это месиво взрывчатых построений и намерений, в этот ад необъяснимого, подавленно-го, потаенного?! Лучше ли тебе теперь в крошечном, чем прежде в обыденном? Наверняка ведь нет! Так отчего ж ты не попытаешься вырваться, пусть ценою крови, слез и нервов, вырваться в прежнее, вырваться в светлое, в привычное, в рассудительное, в человеческое? Григорий! Что же ты заплутал так?!

Должно быть, они плетут свои интриги, громоздят свои инсценировки, ритуалы и кунштюки, лелеют свои грозные замыслы. Цели их неведомы или, напротив, слишком уж ведомы, прозрачны и очевидны. И вот и я, и Григорий, и Лиза, и Соня, и Гольдфарб, и Скарбез — все втянуты в их хитроумную игру. Никто из нас не знает своей действительной роли, мы кажемся себе свободными игроками, но это — иллюзия, самообман, заблуждение. А Шутко, Чанский, водопроводчики, сарадины — их дьявольская прислуга! Впрочем, в этой игре, как в пьесах Мольера, роль прислуги зачастую важнее роли сеньора. Ветер, дома, воздух, автомобили, хорьки на задних сиденьях — их бутафория. Хорошо, что я смог осознать себя марионеткою. Тем более я буду стараться оборвать нити, за которые поддерживают меня. Нити! Из одной из них, пожалуй, возможно для себя смастерить и петлю...

А есть ли у меня с собой телефон? Я выхватил его из кармана, отыскал нужный номер. Гудки длинные и будто сиротские, механически-расслабленные и безжизненные. И вдруг — голос, который я узнал бы из миллиона других голосов.

73.

- Соня! — крикнул я.
- Это ты — волк!
- Мама дома?
- Мамы нет. И папы Виталика тоже нет.
- Папы Виталика?
- Его давно нет.
- Ты одна?
- Одна. По телефону говорю.
- Ты не голодная?
- Есть две морковки.
- Соня, — сказал я. — Это ведь ты взяла деньги?

Молчание.

- Я.
- Зачем?
- Там было много. Я спрятала.
- Но зачем ты взяла?
- Мама с папой Виталиком ругались из-за денег. Я хотела, чтоб не ругались. А потом он ушел.

- Да.
- Ты не знаешь, где он?
- Он... теперь далеко.
- Он вернется?

- Может быть. В другой жизни. В другом обличье.
- Он будет волком?
- Он будет бурундучком, — сказал я. — С полосками на спинке.
- И он не будет больше опасным?
- Наоборот. Он сам будет всех бояться.
- Папа Виталик и так всех боялся.
- Ну... кто-то боялся и его.
- Значит, это не я его убила?
- Ну, что ты говоришь! Ты еще маленькая, чтобы убивать.
- А когда вырасту — смогу?
- Зачем тебе это?
- Все убивают. Мне тоже нужно уметь.
- Может быть, это когда-то все же остановится...
- А может, и нет.
- Я когда-нибудь расскажу, каково это чувствовать, что только что ты кого-то убил. Я сам не убивал, но... знаю. Если тебе будут рассказывать про меня, будто я... ты не верь этому, Соня! Договорились?
- Нет, — сказала она.

У меня внутри что-то оборвалось, какой-то подвешенный груз, я ничего не мог сделать с этим ребенком. Горы льда, здесь тысячетонные торосы, и жизни не хватит, чтобы растопить сотую их часть. Я и сам таков, я и сам холоден и неприкаян, я и сам бреду по горло в безверии, я и сам живу по ключицы и по грудь в безучастности.

— А где мама? Ты не знаешь, Соня? Куда она ходит?

— Дирижирует хором.

Я изумился.

— Ты что-то путаешь! Она не умеет этого делать.

— Умеет.

— Что ты такое говоришь?! — крикнул я. — Никого нет на свете, менее пригодного для того, чтобы дирижировать хором, чем твоя мама! У нее для того нет слуха. Вот у тебя хороший слух, у меня тоже хороший, а у нее — плохой!

— Дирижирует хором, — упрямо повторила Соня.

74.

Отчасти я клокотал, но все ж внутренне усмехался выдумке Сони. Впрочем, недолго я усмехался. Ибо через минуту полностью убедился в ее правоте. Конечно, это совпадение — невероятное, немыслимое, но в жизни моей теперь все чаще образуются именно такие вот совпадения. Я несся по Садовой в сторону Сенной. И неожиданно увидел Лизу чрез витринное окно кафе на моем пути. Вернее, сначала я увидел «хомячий профиль», сидящий за столиком подле окна в кафе, он благоговейно взирал на кого-то прямо перед собой. И благоговейность его была так же хомячьей. Рядом примостился человечек постарше, в лице которого тоже виднелось что-то грызунье. Благоговения не было в нем, но лишь одно затаенное внимание. Третий человек за соседним столиком вдруг оскалился, обнажив ряд мелких и чрезвычайно острых зубов с выдающимися клыками. Тут-то как раз я увидел Лизу, она, кажется, была среди всех самой главной *грызуньей*, а взиравшие на нее мужчины — недавне сотниковской сворой. Будто бы по наследству перешло от Сотникова к Лизе странное главенство над этими промозглыми личностями. А может, это главенство было всегда? И там, на Моховой, именно Лиза втайне управляла этою дюжиной?

Лиза сделала взмах руками, и все поднялись со своих мест. Еще — взмах, и ее подопечные выстроились в пространстве между столиками. Потом — пауза: хористы подобрались, настроились. Новые взмахи Лизы, на четыре четвертых, и свора запела, старательно, вдохновенно. Что они пели? Эти люди не пели ничего. Они открывали рты, набирали воздух, у них были и крещендо и диминуэндо, там были и легато и стаккато, и все ж изо ртов их не вырывалось ни звука. Если б что-то было, я бы все равно услышал, несмотря ни на витрины, ни на транспорт. Лиза же дирижировала тишиной. В том не было ни пародии, ни гротеска; все исполнялось с сознанием важности задачи и собственного предназначения. Тишину они разложили на несколько голосов, будто бы на четыре. Была тишина басов, тишина баритонов, тишина теноров и даже дискантов.

Должно быть, Лиза почувствовала чужой взгляд: обращаясь к басам, она вдруг скосила глаза в мою сторону, увидела меня, буквально прильнувшего к стеклу, встрепенулась, ее подопечные также увидели меня, хор смешался, расстроился. Кто-то, кажется, метнулся к выходу, быть может, даже чтобы поймать меня или поколотить, но Лиза властным движением руки вернула ретивых хористов на место и лишь обдала меня презрительным пожатием плеч.

Я отшатнулся от стекла. Мне не дают жить жизнью великого частного лица, меня втягивают во всевозможные события, навязчивые и необъяснимые. Мне несомненно указывают, что греховная карьера моя окончена, а день сей славен дыханием судорожным и нитевидным пульсом.

Я понял: наш Бог — аутист. Он не смотрит прямо ни на мир, ни на человека, у Него свой мир и свой человек, воображаемые, вымышленные, великолепные. (А где великолепие у нас? Нет у нас великолепия!) У Него свои чудеса, своя правда, свой смысл и своя логика, свои счастье и предельный тонус. Бытие Бога — история болезни, человеку, впрочем, неведомой, никакими теориями не объяснимой, никакими словами не описываемой.

Я понял: Лиза — оборотень, *оборотниха*, она уходит и превращается. Всякий раз превращается в разное, может и в святость, может и в нечисть, может и в зверя, может и в нечто надмирное. Много в ней страшного, потаенного, недооформленного. Когда же возвращается, она — снова женщина, капризная, непримиримая, взбалмошная. Я всякий раз видел женщину, но теперь угадал оборотня. Быть может, те грызуны — ее свита, и сейчас они приветствуют свою преобразившуюся патронессу. Соня, дочь Соня, как же страшно, как холодно тебе в этом мире, так же страшно и холодно, как страшно и холодно мне!

Я втянул голову в плечи и побежал. Но пробежал не более десяти шагов, ибо наткнулся на человека на моем пути. Зачем на моем пути — человек? Не надо на моем пути человека! Да будет мой путь отчужденным, да будет тропа моя пустынной, безлюдной, безгласной! И все же я — главный *звукотворник* мира, главный мелодист двуногих и млекопитающих, тайный и незнаемый их ходатай и поручитель!

Я хотел обежать сего человечка, я еще не видел его, не видел лица его. Видел лишь, что он худ, высок и сутул, с какою-то анахронической жилкой, что он не молод, лет чуть более семидесяти двух. Я поднял глаза и посмотрел тому в лицо: нет, я не знал его. Исходила ли от него опасность? Нет, опасность от него не исходила, скорее она исходила от меня.

На голове старичка красовался берет. В одной руке у того была хозяйственная сумка. В ней что-то звякнуло и плеснулось.

Лицо старичка осветилось изумлением, он стал разводить руками — одною с сумкой, другою пустой.

— Неспала-а-алов! — протянул он. — Мирослав Евгеньевич... Это вы? Бежите? На улице? Вот так вдруг...

75.

— Кто вы? — крикнул я встречному.

— Я? — удивился старичок. — Никто. Обыватель. Мелочь. Ваш давний поклонник. Обо мне не стоит даже говорить. А вот вы! Иду себе, иду, что-то бормочу под нос и вдруг встречаю... Неспалова! Поразит-тельно!

— Да, — буркнул я.

— А я ведь вас еще назад лет тридцать слышал. Мальчишкой. В филармонии, в Большом зале. Сколько в вас тогда было артистического, подлинного. Тогда уже подумалось: это — настоящее. Это вот навсегда!

За спиною у меня был хор «грызунов», возглавляемый Лизой, передо мною стоял этот «поклонник», где-то неподалеку, возможно, бродил Григорий с шилом в кармане, еще коллеги Скарбега, о них тоже не стоит забывать — в общем, положение мое было не из блестящих...

— Ну, уж и навсегда... — пробормотал я.

— Навсегда! — закивал головой мой собеседник. — Я слушал вас раз пятнадцать, не меньше. И всегда это было так свободно, естественно, что, казалось, до Неспалова вовсе не было музыки. Мы вот так себе жили, а потом пришел Неспалов, сделал что-то и сказал: «Это вот — музыка!» Научил звучать инструменты. Научил слышать уши. Я дилетант, профан, рядовой инженер, никогда не игравший даже на пианино, а и то понимаю, что вы сделали в музыке. Однако вы, кажется, торопитесь, а я остановил вас, — спохватился вдруг старичок в берете.

— Я торопился, — сказал я. — Но рядом с вами я в безопасности.

— В безопасности! — с горечью качнул головой мой собеседник. — Такой человек, корифей, светило... и вынужден думать...

— Ну... — сказал я.

— А вопрос... позволите?

— Пожалуйста, — сказал я.

— Почему вы не уехали?

— Не знаю, — честно сказал я. — Правда, не знаю.

Пронеслись ли у меня перед взором дома и улицы этой вылизанной Европы? Этого изнуренного благополучием Нового Света? Нет. Ни одной картины не пронеслось перед взором моим. Я не хотел картин, и картин не было.

— Много бы места для вас нашлось в мире. И были бы триумф за триумфом, успех за успехом...

— Я, может, еще и уеду.

— За границу?

— Просто исчезну. Пропаду. Растворюсь.

— Неспалов не может исчезнуть. Он слишком заметен.

— Я попробую.

— Жаль.

— Что поделаешь, — пожал я плечами.

— Можно еще вопрос?

— Да.

— Что вы сейчас пишете?

Я задумался. Говорить ли ему про симфонию? Нет, про симфонию ни слова, ни звука, да ведь и нет ее — этой самой симфонии! Уж лучше сказать про квартет.

Хотя квартет, конечно, выйдет много ничтожнее этой возможной симфонии, с ее скептическими полутонами, с отчаянными мелизмами, со стратосферными диссонансами, с ее ангельскими модуляциями и хтоническими секвенциями.

— Струнный квартет, — сказал я. — Восьмой по счету.

— Да, — зажмурился от удовольствия старичок. — Я помню ваши прежние.

— И еще... «Баллады двух боков».

— Как это?

— У меня часто бывают бессонницы. Пытаешься заснуть — и не можешь. На один бок ложишься — одно мерещится. На другой бок переворачиваешься — мерещится другое. Вот о каждом мерещущемся — по балладе. Баллада правого бока, баллада левого бока... Это будет непременно в мажоре, в этаким, знаете, экзистенциальном мажоре.

— Потрясающе!

— Сначала написать надо, — махнул я рукой.

— А еще позволите?

— Говорите.

— Я столько раз видел вас, на концертах. Но чтобы лицом к лицу — это впервые. Вы не напишете мне что-то на память. Автограф... дурацкое слово! Просто роспись, если можно.

— У вас найдется на чем? — спросил я.

Он пошарил по карманам, достал спичечный коробок, ручку.

— Да вот хоть на коробке. Просто — роспись.

Я взял у него коробок и ручку, задумался. Потом написал: «Последний день. Спасибо, — и на обороте коробка, — Неспалов».

Мой собеседник выхватил у меня коробок, прочитал надписи, прижал коробок к сердцу; будто согреваясь трепетным теплом его, бережно опустил в карман.

— Спасибо, — шепнул он.

Собственно, надо было прощаться. Эта краткая минута приязни, приветливости, будто бы принесшаяся из прошедшей жизни, закончилась. Говорить более было не о чем, за душою же у меня толпилось одно безобразное, одно неразглашаемое. Он еще топтался на месте...

— Если позволите... — шепнул он снова.

— Что?

— У меня есть ром, — сказал старичок. — Две бутылки, по случаю. Если захотите выказать мне, поклоннику вашему, расположение, примите от меня одну из них. Просто так. Ни для чего. В ознаменование встречи!

Я взглянул в его глаза за толстыми стеклами, в них было что-то незащищенное, нераздвоенное, детское.

— Спасибо, — сказал я.

Он вынул из сумки бутылку в три четверти литра и отдал ее мне. Я поклонился старику, старик поклонился мне.

— Извините, — сказал я. Затолкал бутылку глубоко в карман, так, что торчало оттуда лишь ее горлышко. И отправился прочь.

76.

А ведь и вправду, может ли Неспалов пропасть? Ну а почему, собственно, нет? С минуту я бежал взволнованный. Мало ли прежде у меня было встреч с поклонниками, но эта была особенно неожиданной и приятной. Опять же и ром был весьма кстати (я еще не знал о страшном будущем его употреблении). Но за

Сенной настроение у меня резко ухудшилось. За Сенной все делается хуже. Я ведь теперь полностью в руках у Григория. А впрочем, может, и нет. С одной стороны, с чего бы ему стараться выгораживать меня, обелять мою репутацию? Не выгоднее ли повесить на меня убийство следователя? С другой же стороны, если бы он вдруг решил оказаться благородным, много ли веры его словам? Я тоже был там, я тоже замазан. Да и прочие убийства. Они все были так близко от меня, в моем доме или рядом. Гольдфарбы: дочь, Маргарита, Леонид... Недолет, перелет, недолет... А может, все же в самую точку?

Григорий. Я бежал от него, но на самом деле мне следовало бы к нему держаться поближе. Чтобы выведать его планы. Чтобы, возможно, соучаствовать в них, чтобы направлять и корректировать их. Но нет, так я и сам, возможно, незаметно втянусь в дела его, дела его привязчивы, дела его заразительны. Как-то же они вербуют своих стажеров, чем-то же приманивают!

Как мне исчезнуть? Бежать? Куда? Есть ли такое место, куда бы мог бежать я? Меня привлекает север, там холодно, там можно быстро покончить дни свои. Заболеть и все же идти и идти от поселка к поселку в двадцати верстах, самому не ведая, что влечет тебя туда, и в конце концов замерзнуть в снеговой куче. Сестры лисы и братья волки отыщут твоё остывшее тело, замеченное пургой, и станут терзать его, но этого ты уже не почувствуешь — душа твоя будет далеко. Мне не жить на свете с грузом моим, я твердо знаю — не жить! И хорошо, если рядом будет море; страшно северное море ночью; хорошо, если страх будет предпоследним из ощущений твоих. А какое будет последнее? Последним будет великое «все равно». *Все равно* когда-то еще водрузится над миром и над человеком на исходе дней их, *все равно* восторжествует над миром и над человеком, перед ним склонится даже сам Бог!

Я иногда застывал на месте, потом снова спохватывался и бежал далее. Гороховая, Мучной переулочек, распластавшаяся громада Апраксина двора по правую руку, жалкие пешеходы, трамвайные провода, редкие автомобили, колючая проволока, противотанковые укрепления на проезжей части. Вот же и Гостиный двор возвысился предо мною. Я побежал по открытой его галерее в Садовой, бывшей Зеркальной линии.

77.

Большинство зданий вокруг я всегда презирал, Гостиному же двору обычно даже сочувствовал. Из-за исключительной бездарности оно. Вы торговое, купеческое, доходное, прохиндейское, прижимистое водрузили в центр града сего (едва ли не в центр мира), сдобрили его классицистскою помпезностью, овеяли прежним царственным духом и ожидаете, что сия клоака, сия язва не расплзется на все дома, дворы, фамилии, на все дела, досуги, променады и поприща ваши? Но не тут-то было! Давно расплзлась. Купеческая, лакейская, приказчицкая язва давно поглотила прежний великолепный град ваш, давно обезобразила гордый европейский дух града, давно наложила жирный и несчастный отпечаток на весь облик и всю сущность его. Вы хотели такой град? Вы его получили! И отныне не сетуйте!

Прохожих было немного, Садовая улица, против обыкновения, оказалась пустынной и почти даже зловещей. Шаги мои гулко раздавались под сводами галереи. Из-за пилона навстречу мне шагнул человек.

Да-да, разумеется, то был Григорий. Руки он держал засунутыми в карманы и глядел на меня исподлобья. Я испуганно метнулся от него.

— Иди! — взвизгнул я.

— Ну, куда бежишь, опрометчивый ты человек?! — дурашливо крикнул Григорий. — Ты что, думаешь, я стану тебя выгораживать? Черта с два, Неспалов! И не собираюсь! Ты зачем убил следователя?

— Это не я! — я бросился из галереи на тротуар, выскочил на проезжую часть. Оглянулся: Григория сзади не было.

— Что? — выскочил Григорий из-за следующего пилона. — Стало быть, это я убил? Ну и свинья ж ты, Неспалов! И выдумщик! Я позвонил, его уже ищут! Скоро найдут! Потом тебя искать станут!

— Тебя это радует?

Я пробежал вперед, стараясь не подпускать Григория близко к себе. Тот же обежал вокруг пилона и поплелся за мной следом.

— Не скрою. Занимает. Я твой отчет *там* оставил. Несколько страничек с собой взял. Хорошо же ты пишешь, Неспалов! Нашего брата литератора, чего доброго, посрамишь! «Я обречен на то, чтобы жизнь моя не состоялась». Талант! Стилист! *Сокровищник!* Немножко вот листы кровью попачкались. Но тем ценнее! Тем раритетнее!

Я повернулся к нему лицом и пошел спиной вперед. Только бы мне дотянуть до Невского, подумал я. Только бы мне дожить до Невского, с его мерзкими пешеходами, с его фланирующей сволочью! Там могут оказаться военные, к ним можно будет обратиться, им можно будет крикнуть.

— А хочешь выпить, Гришка? — фальшиво сказал я. — У меня есть ром. Подарок поклонника. Три четверти литра. Только что вручили с выражениями искреннего восхищения моим талантом!

— Что за ром?

— Я когда-то для тебя пожалел пива, а тут настоящий ром!

— Ну, уж нет! Я не попадусь в твою ловушку, дорогуша! Ты слишком привык меня за дурака держать. А я не дурак!

— Это ты убил Гольдфарба?

Мы снова сыграли с Григорием в кошки-мышки вокруг пилонов. Игра становилась все более жуткой, все более угрожающей.

— Жену его — я, — сказал Григорий, выныривая прямо передо мной. — А самого — Сотников! Жалко, шумно, бездарно. Чуть все не провалил. Зачем-то потом Гольдфарбово шило подбросил. Дурак! У тебя бы и то лучше вышло.

— У меня бы не вышло!

— Не надо себя недооценивать, мой милый! Я тоже сначала в себе сомневался. Да ведь, знаешь, и Москва не сразу строилась — а теперь вон какая гадина вымахала!

— Нет! — крикнул я и бежать бросился.

— Ты еще про ихнюю дочь не спросил, — крикнул вслед мне Григорий.

— Да, — застыл я как вкопанный. — Кто убил девочку?

— Ты, — ухмыльнулся Григорий, нагоняя меня.

— Конечно! — вскричал я. — Мели, Емеля, — твоя неделя!

— Шучу! — захохотал Григорий. — Ты! Ты — всех! Старика! Старуху! Девчонку! Гришка — щенок, можно сказать, в сравнении с тобой! Тяв-тяв, дорогой учитель! Гришка даже описался от восхищения, мой великий и блистательный мастер!

— Так что насчет рома?! — крикнул я. — Стаканов вот только нет. Ну, да мы-то ведь не брезгливые, не так ли?

— Стаканов! — завизжал вдруг Григорий и бросился на меня. Шило было зажато у него в кулаке.

— Ты что?! Подожди! Не надо! — кричал я в ужасе. Бросился вкруг пилона, выскочил на проезжую часть, пробежал метров двадцать, после чего снова вернулся

под аркаду Гостиного, Григорий, дыша прерывисто, необузданно несся за мною. В каждую секунду я ожидал смертельного удара, спереди или в спину.

— Власти! Хочу-у-у! Праздни-ка-а! — вопил он. Он уж был невменяем, он не контролировал себя. И вдруг я услышал, как будто что-то крикнуло неподалеку. Я обернулся на бегу и увидел, что Григорий, споткнувшись, нелепо растянулся на плитах пола. Шило выпало у него из руки и отлетело прямо мне под ноги. Я пнул с размаху эту гадкую смертоносную вещицу. Она отлетела на середину проезжей части, за трамвайные пути. Я снова бросился бежать. Ром плескался, бутылка била меня по бедру. Возле Невского я обернулся, Григорий уже отыскал свое оружие, но вместо того, чтобы бежать за мною вдогонку, отчего-то, прихрамывая, перебежал через Садовую и припустил в противоположную сторону, в сторону улицы Ломоносова, бывшего Чернышева переулка.

78.

Жизнь! Строго говоря, она должна была бы писаться через какие-то другие буквы. В этих нет ни достоинства, ни определенности. Впрочем, что — буквы?! Буквы — мелкая мерзость, служащая для составления мерзости крупной. О буквах думать не хотелось. Сам язык, само словоговорение, сама речь — занятия не слишком почтенные. Времени жаль, потраченного на речь, усилий жаль, употребленных на извержение слов. Лиза права, Лиза что-то угадала: нужно молчание, нужно управлять молчанием, нужно распоряжаться тишиной, отпущенной нам в обращение, данной нам в достояние.

Черт, я ненавидел Невский, по которому сейчас торопливо вышагивал, поминутно озираясь, но ведь он меня спас. Хотя что, собственно, с того, что меня спас Невский? Григорий меня вот тоже спас недавно от Скарбеца — и разве легче мне от того стало? Так же и Невский: сейчас спас, а через минуту, быть может, и уничтожит. Оба друг друга стоят — Григорий и Невский, Невский и Григорий; не верю ни одному из них.

Повсюду мне мерещился Григорий. Мне казалось, он вот-вот снова выскочит предо мною. И это не важно, что на Садовой он побежал в другую сторону. Он может появиться сейчас, он может встретить меня на Моховой или даже прямо на лестнице. И с этим кошмаром мне жить всегда? Немыслимо. Невозможно.

Но разве те, другие, которых предупредил Григорий и которые станут искать меня из-за мертвого Скарбеца, не опаснее? Этот только убьет, те же не только убьют, но и еще и ослепят! Те станут вязать, крутить, ломать, станут глумиться, выпытывать, вынюхивать, высматривать, выпрашивать. Но конец все равно будет один! Лучше бы они тоже убивали сразу!

Надо бежать! Да, сегодня же бежать из города! Куда бежать? Неважно: Архангельск, Вологда, Териберка, Кандалакша! Любой из небольших северных городов. А лучше деревушка, поселок, полустанок. И там уже исполнить задуманное. А что ты задумал? Да уж, задумал кое-что! Пожалуй, все же стоит снискать себе кончину потрагичнее и повозмутительнее. Поскандальнее, погадостнее. Да, но разве прямо теперь? Впрочем, почему бы и не теперь?

Но только — не поезд! На поезде не затеряться, там станут смотреть паспорт, станут делать удивленные лица, недоумевать, рассуждать про себя и, значит, непременно запомнят. Автобус — вот выход! Или несколько автобусов. Так можно и затеряться.

Я хочу, чтобы было море неподалеку, ночь или вечер, чтобы был ветер и горы, чтобы было страшно, шумно и безлюдно, чтобы была веревка и дерево с толстыми

сучьями, но только невысоко. Нужна еще табуретка. Чтобы соскочить с нее. Но это там, на месте. Табуретка не должна быть тяжелой. Но такой, чтобы можно было взять ее в руки и пройти шесть километров. Подходящая веревка есть у меня в кладовой. Там же, откуда родом и мое шило. Где теперь шило? Шило мое — дома. Домой! Схватить веревку, на всякий случай еще шило и тут же бежать!

Есть ли у меня в запасе час-другой? Бог знает! Как быстро меня станут искать? Еще понять бы, что на уме у Григория? Но это уж совсем невозможно! Он хочет власти, он слетел с катушек и готов убивать.

До Моховой можно домчаться за десять минут, незаметно подняться к себе, взять веревку и тут же бежать. Потом — автобус! Сутки, даже двое... Сорок часов. Это время будет моим. Тогда можно будет не бояться ни Григория, ни этих... преследователей!

Но главное, чтобы там, на берегу моря или в лесу... чтобы последний час был только моим! Ни с кем не желаю делиться последним часом. Нужна еще бутылка водки, но ром тоже подойдет. Все складывается превосходно! Я залезу на табуретку. Я ее куплю там. Или украду. Лес и табуретка. Прилажу петлю и потом, стоя под деревом, выпью весь ром одним разом. Не может быть, чтобы я не опьянел. Разумеется, я опьянею. И тогда даже и не замечу, что произойдет дальше. Разве смерть так страшна? Смерть совершенно не страшна, человек страшнее смерти; для смерти, должно быть, мука — приходиться к человеку в последний его час, нести тому от самого себя избавление. Как вовремя мне сегодня подвернулся поклонник с его чертовым ромом. В сущности, он меня спас, он меня направил, он меня подтолкнул. Все сегодня спасают меня.

Кое-что изменилось. Мне теперь не нравится этот мир и венец его — человек. Возможно, какой-то иной венец меня бы с тем примирил отчасти. Но отсюда — вопрос: что может теперь примирить меня с человеком? Ничто, никогда.

Я готов взирать на сей мир во всей его неприглядности, во всей его заскорузлости и неудобоваримости, но лишь бы никогда не слышать его. Не ведать его шумов, его благозвучий, его увертюр, его дисгармоний, не знать его сладких безголосых певичек, его рафинадных кумиров, его пенных витий, его кунжутных епископов, пряничных политологов, карамельных его соглядатаев. Звук есть ужас мира. Звук есть мой ужас. Звук есть беда всякого живого и слышащего, всякого беспредельно живого и пронзительно слышащего. Звук сидит во мне, звук живет во мне, беснуется, бражничает, единоборствует, *громовержествует*, во всякое из мгновений угрожая мне разрывом моего бедного недужного мозга.

Черт побери! А ведь это не Григорий и вовсе никакие не преследователи! Это симфония, проклятая моя симфония гонит меня!

79.

Сарацины отдали мне честь, когда я проходил мимо их поста. Я кивнул им в ответ. Когда я прошел, один из них стал звонить по телефону. Кому он звонил? Преследователям? Ни минуты не сомневаюсь.

Наше время жаждет множества *новых наивных*. Может, даже пустоголовых. Наше время — жаждущее время, нет, более того — алчущее. Ему мало прежних подпорок, ему недостаточно прежних презентов. Высшие наши радости — простые радости. Например, смерть в одиночестве. Я принял решение и сразу стал гораздо спокойнее. Задача только в том, чтобы успеть. А для того нужно обмануть их всех своим хладнокровием.

На улице вовсе не было серьезных прохожих; в основном — сопляки! А ведь нельзя же соплика признать за серьезного прохожего, не правда ли? Я удивился, как соплики иногда вольготно чувствуют себя на улицах. Мне бы хоть сотую часть этой-то вольготности! За это я бы с радостью согласился быть сопликом.

Будь преследователи мои поумнее, они бы скрутили меня прямо на улице. Да и Григорий... Ему следовало бы подстеречь меня в подворотне или внизу на лестнице. Не скажу, что я не опасался, войдя в парадное. Я все же несколько напрягся. Меня выручил слух. Я слышал жизнь на лестнице, я слышал жизнь и в квартирах, как будто те вдруг лишились дверей. Я слышал, что и меня слышат, слышат меня, идущего, слышат меня, восходящего на первые из ступеней. Я знал уже, что и Ольга дома, что она на кухне, подле плиты. Она могла немного мне помешать. Но не отказываться же от задуманного из-за столь несущественного обстоятельства!

Двери квартир на втором этаже были приоткрыты, и из сумрачной глубины прохожих за мной наблюдали. Дверь у Регины тоже была приоткрыта. Я постоял на ее площадке, Регина высунулась и прошептала:

— Знаете, мы решили действовать. Мы создали собственное ополчение... на нашей лестнице.

— Правильно, — сказал я. — Так и нужно. Рад слышать от вас.

— Вы же видите, что происходит. Ни на кого нет надежды. Только на себя.

— Да-да, безусловно, — сказал я. И направился далее. Но после все же задержался и, понизив голос, говорил женщине:

— Считаю своим долгом уведомить вас насчет Ермакова. Ермаков Григорий, поэт, он здесь бывает... Григорий — маньяк, я точно знаю. Это — зверь, он всех убивает. Попадется он вам, сразу бейте его наповал!

— Нам известно об этом человеке! — с достоинством кивнула головой Регина. — Мы предупреждены.

— Отлично! — сказал я. — А мне нужно работать.

Заложив за спину руки, я стал подниматься на свой четвертый этаж. Холодок в позвоночнике мне почти удалось укротить.

— Вы видели следователя, Неспалов? — громко спросила Регина.

— У меня много работы, — снова сказал я.

Более она не переспрашивала.

Квартира моя показалась мне обнаженной, так в ней было все очевидно. Она была беззащитной. Никакие двери, никакие запоры не могли бы сделать ее неприступной.

Ольга была на кухне, но вышла ко мне.

— Я готовлю куриные крылышки, — сказала она.

— Хорошо, — сказал я.

Я сразу заметил свое шило, оно лежало на подставке для обуви. Но на том ли самом месте, где я оставил его вчера? Не знаю, не уверен. Кто его трогал? Ольга? Водопроводчики? Разве они были здесь в мое отсутствие? А Григорий? Не заходил ли и он?

— Григорий был здесь? — спросил я.

— Сегодня его не было.

— Если появится, не пускай его. Григорий опасен.

— Хорошо, — пожала она плечами.

— Ни под каким предлогом!

— Я поняла.

— У Григория много разных предложений.

— Я знаю.

— Про него я потом расскажу.

— Ладно.

Шило все же не давало мне покоя. Я взял его и еще какую-то бумажку, быстро обернул острие бумажкой и сунул его в карман.

— Мне это надо, — пробормотал я.

— Конечно, — сказала женщина.

Боже, хоть бы Ольга поняла и оставила меня одного! Разве моя жизнь — не только *моя* жизнь? Разве не могу я в ней принимать решения, касающиеся меня и только меня?

— Ты сегодня что-нибудь ел? — спросила она.

— Сейчас на Садовой мой старинный поклонник подарил мне бутылку рома. Ты хочешь рома? — с фальшивою бодростью говорил я.

— Я сейчас, — сказала Ольга и наконец шмыгнула на кухню.

Теперь можно было разобраться с веревкой. Я решил намотать ее на себя, под мышками и на животе, потом же сверху прикрыть курткой, и ничего не будет заметно. Я потихоньку приоткрыл дверь кладовки.

— Он сказал, что слышал меня раз тридцать, — громко сказал я. — Знаешь, было приятно.

— Здорово, — откликнулась Ольга.

— Причем простой человек, не музыкант, обыкновенный любитель...

— Тем более.

Я сбросил куртку с себя на пол и стал обматываться веревкой. Веревка была хорошей, толщиной в палец, она бы меня выдержала.

— Подожди, я сейчас приду к тебе, — снова громко говорил я.

Вышло около десяти оборотов, этой длины непременно должно хватить. Конец веревки я подоткнул за пояс. Набросил на себя куртку, тщательно застегнулся и отправился в кухню.

— Ты не раздеваешься? — спросила Ольга.

— Мне нужно еще уйти на какое-то время.

— А куриные крылышки?

— Оставь. Я попозже поем.

— Что-нибудь срочное?

— Иначе бы я не пренебрег крылышками.

— Может, все-таки есть время?

— Не знаю, — искренне сказал я.

— Ты не спросил меня насчет матери.

— Я как раз собирался это сделать. Как она?

— Плохо, — ответила Ольга. — Мне надо будет снова туда ехать. В опасную Гатчину, — добавила еще Ольга, взглянув на меня.

— Григорий тоже опасен, — для чего-то еще раз сказал я.

— Гатчина опасна, и Григорий опасен, — сказала Ольга.

— Не смейся. Я знаю, что говорю.

— Я в электричке встретила свою консерваторскую подругу, — сказала Ольга. — Ингу. Ты, случайно, не помнишь ее?

— Нет, — сказал я.

— Она была, пожалуй, самой талантливой на курсе. Самой подающей надежды. Боже, что с ней стало такое?! Я едва узнала ее! А ведь прошло только десять лет. Неужели и я так переменялась?

— Нет, — снова сказал я.

— Она была виолончелисткой, безумно талантливой! Занималась композицией. Окончила с отличием. Много концертировала. А сейчас... четырежды была замужем,

последний муж ее бросил недавно. Трое детей, младшая дочь умерла в сентябре. Пьет... живет в доме в деревне. Дети с ней не живут. Собирает бутылки. Летом — грибы и ягоды. Но я о другом. Эти вот так называемые «творческие женщины»! Женщина пытается что-то творить, сочинять... стихи, музыку... или еще что-то... Подает надежды, как говорится. Потом проходит время, она любит, рождает ребенка, и ей вроде дается вторая попытка. Попытка прожить жизнь ее ребенка, прожить жизнь вместе с ее ребенком. Мужчине же никакой второй попытки не дается. Его попытка — первая и единственная. И если это — фальстарт...

— Значит — это фальстарт, — подхватил я.

— Примерно так.

— Грустная история.

— Неспалов, позови меня, если я тебе действительно буду нужна.

Я подошел к Ольге сзади, обнял ее, поцеловал в голову.

— Ты нужна мне, — сказал я. — Прости меня за то, что я почти не говорю тебе этого. Прости меня за то, что я всегда в себе. Прости меня за то, что я даже с собою самим не знаю, как обращаться, не то что с другими. Ну вот, опять о себе! Солипсизм какой-то! Кажется, Солнце светит для одного меня. С обратной стороны Солнца — темно. Я хочу вырваться из себя, устремиться к другим: к тебе, к Соне — и не могу, ничего не могу. Это — мерзко, я сам себе мерзок. Но что поделаешь, у меня химический состав таков. Ты знаешь, я, кажется, привязан к этому миру лишь ненадежным моим сердцем и еще горсткой странных мелодий, толпящихся где-то вблизи моего горла. Но мне кажется, что теперь не привязан уже ничем.

Ольга отстранилась немного, выключила газ.

— Крылышки готовы, — сказала женщина.

Она смотрела на меня, смотрела мне в лицо (на глаза мои навернулись слезы), потом перевела взгляд ниже, еще ниже. Я проследил за ее взглядом. Черт побери, из-под куртки моей высунулась веревка. Ольга смотрела именно туда, на эту веревку.

— Я взял, — пробормотал я. — Мне это тоже надо.

— Конечно, — мягко сказала Ольга.

Пари готов держать, что Ольга все поняла, она всегда все понимает, она всегда все угадывает.

— Мне сейчас нужно уходить, — сказал я. — Уже опаздываю...

— Нет, — ответила Ольга. — Уйду я. Ты останешься. Прощай, Мирослав.

— У тебя же сегодня должны быть занятия, — сказал я.

— Я отменила, — ответила Ольга.

В прихожей она повязала косынку, надела куртку, взяла уже собранную сумку.

— Прощай, — еще раз сказала она.

Я кивнул головой.

— Прости меня, — сказал я.

80.

Эта жизнь не могла не закончиться как-то так уж совсем прескверно. Слишком долго ходил я с незаурядностью в обнимку, с величием и с подспудностью — вприкурку. Слишком долго я искушал и был искушаем. Слишком часто я соперничал с тем, что соперничества никакого не приемлет, что непочтительности не позволяет. Я закрыл за Ольгой дверь. Я не хотел отпускать ее на эту враждебную лестницу. Странно, Ольга, кажется, вовсе не боится жизни. Не понимаю, как можно ее не бояться! Столько в ней, в жизни, угрожающего, столько в ней несвязного и непред-

сказуемого. Ужас и отчаяние — в веренице дней наших безжалостных! Жизнь, ты не стоишь иного!

Теперь уж наконец можно было поправить на себе эту проклятую веревку. До чего же нелепо все вышло! Надо обмотаться веревкой так, чтобы она и не стесняла движений и чтобы держалась на своем месте надежно. Не беда: сейчас сниму куртку и перевяжусь сызнова, сказал себе я.

Ничего ведь не переменилось: Ольга ушла, но и мне необходимо бежать. Сейчас только посмотрю в окно, как Ольга идет по улице, сказал себе я, и сам тоже уйду. Ольга! Только она была способна выдать мои звуки! Не правда ли? Предать их, ошельмовать и ославить! Да-да, она добра и покладиста, а потому очень даже способна шельмовать! Я сам несколько раз был свидетелем того, что мои мелодии разносятся по городу, разлетаются по прохожим, кто-то уж напевает, насвистывает те. Симфония еще не написана, но какие-то куски из нее уже узнали случайные люди. Кто мог быть виною тому, кроме Ольги? Разве только — я сам!

Телефонный звонок. Я направлялся к окну, но вместо того бросился к аппарату.

— Волк слушает, — крикнул я.

Как это я угадал? Или нет: я не угадал ничего, я любому бы ответил так, но это действительно была Соня.

— Папочка, ты не волк! — кричала мне Соня. — Волк ко мне в дверь ломится!

— Что?! — похолодел я.

— Он ломится! Он убьет меня! Слышишь?

Я слышал. Я и сам слышал по телефону, что ломились в дверь, и еще... рык разъяренного зверя я слышал за дверью, в которую ломились теперь там, на другом конце провода.

— Соня! — закричал я. — Держись! Я мчусь к тебе! Сонечка! Стой, волк! — крикнул еще я.

Я бросил трубку, я рванулся в прихожую.

— С дороги! — крикнул я на лестнице.

На дороге моей никого не было, но двери соглядатайствующих соседей захлопнулись, двери Регины и двери новоявленных ополченцев со второго этажа. Я летел по лестнице, не замечая ступеней. Я поймаю машину на Литейном, я велю ехать так быстро, как только возможно. Дверь может оказаться прочной, кто-то, быть может, услышит и вмешается, говорил себе я. Я успею, кричал я себе, я обязательно должен успеть! Я не успею! Это так далеко, а дверь долго не устоит. Мне ли не знать непрочности наших дверей! — кричал себе я.

Ольга лежала на первом этаже, прямо подле входной двери. Всякий, кто стал бы входить в парадное, непременно запнулся бы об нее. Крик вырвался из груди моей. Боже, почему я ее не остановил?! Почему не пошел с нею вместе? Почему я не пошел первым? Я не успел еще склониться над нею, но я уже знал твердо, что все кончено. Что я стану звать ее, но она не откликнется. Что не будет ее тепла, не будет ее голоса, не будет ее жизни подле моей неказистой, аспидной и постылой жизни. Боже! Крошечная ранка около сердца. Как у Елизаветы Баварской, императрицы Австрии.

Все не так! Я никому не в состоянии помочь. Вернее, я должен помочь другому! Я все останавливаю! Я переменяю ход времени, ход событий и сделаю это способом, которым действительно владею. Я должен грянуть, по слову Гольдфарба. Я спасу Соню, я спасу Ольгу, я спасу себя и даже, может быть, спасу этот чертов мир, как бы наивно это ни звучало! Вы не верите, я знаю, вы сомневаетесь, но скоро вы увидите, что я прав. Я уже начал спасать нас всех! Именно теперь! Именно так! Я вдруг услышал. В мозгу моем загремели аккорды вступления.

— Пойдем, милая, — тихо сказал я, поднимая Ольгу. Она мне показалась удивительно легкой. Я стал подниматься по лестнице. Я не опасался, что музыка исчезнет, пресечется. Это была моя музыка. Она была торжественна, она была величественна, она была пронзительна.

— Не нужно открывать двери, — тихо попросил я, очень тихо, но меня услышали. Ни одна дверь не открылась. Когда захотят, они все же могут быть деликатными.

Я шел медленно, я шел с закрытыми глазами, из-под век моих бежали слезы. Я их не стыдился.

На площадке я осторожно положил Ольгу на пол, открыл дверь, снова поднял и внес в квартиру. В гостиной положил на диван. Снял наконец куртку. Тихо усмехнулся намотанной на меня веревке. Веревка — это несерьезно. Тогда я разматывал ее и бросил на кресло. Теперь можно было уже не спешить.

81.

Входную дверь я за собою закрыл, но кому нужно, все равно войдут, знал я. Я вообще-то действительно ожидал гостей. Худбин будет непременно, сказал себе я. Он любопытен, он не упустит случая. Могут на огонек заглянуть «водопроводчики». Может и Григорий появиться, но он, я уверен, будет теперь присмирившим. Пусть он только попробует снова бесчинствовать! А вот Скарбеза я бы, пожалуй, не хотел. Нет, решительно его не следует сегодня пускать ко мне! Инспектор Шутко мне почти симпатичен. Что ж, я не буду против! Чанский... Он забавен, с его причудливою губой. Этот пусть будет. Ольга сумеет их принять. Она — хорошая хозяйка, она займет их разговорами, накормит куриными крылышками. Уверен, что Гольдфарб очень любит крылышки. Дай ему волю, он слопаёт все до единого.

Я был очень спокоен; достал толстую пачку партитурной бумаги, достал ворох ручек. Положил на стол. Открыл ром. Выпил маленькую рюмку. Больше пока не надо. Взглянул на рояль. Он, словно жеребец, бил копытом, готовый мне помогать. Нет, сегодня он мне не понадобится. Вместо куртки я натянул на себя свитер, а сверху еще телогрейку. Теперь, пожалуй, я не замрзну. Я расчертил несколько листов. Ну вот, все готово.

— С начала, — сказал я.

Симфония стала звучать с начала. Я знал ее от первого и до последнего такта. В ней не было от меня тайн, но она сама была тайной. Она казалась мне удивительно знакомой, как будто я слышал ее сотни раз в исполнении лучших оркестров. Казалось, эта музыка существовала всегда. Я даже подумал, что слышу что-то существовавшее много лет до меня, но тут же поднял сам себя на смех. Мне ли не знать музыки, написанной прежде!

— Ольга, — на всякий случай спросил я, — ты ведь не слышала этой музыки прежде? Только от меня?

Я не смотрел в Ольгину сторону, но она все же кивнула мне головой.

— Тогда поехали! — сказал я.

Рука моя делала то, что она уж делала тысячи раз. Она записывала. Она создана для того, чтобы записывать. Она летала по нотным станам, и я практически не следил за ней. Я только слушал. Первый лист я испещрил значками за полминуты. Впрочем, что время? Времени нет, есть такты симфонии.

Здесь — жизнь Ольги и жизнь Сони. Здесь — жизнь Гольдфарба и еще многих других, здесь покой и порядок, здесь простота, здесь величие, здесь подножия, здесь амальгамы, здесь соединения и амбивалентности, здесь безветрия, здесь пе-

решейки, здесь штольни и ионосферы, здесь божественный беспорядок, здесь игра, здесь подчиненности и суверенности. Здесь вся моя жизнь.

Может, мне не писать этого? Может, остановиться? Ведь ты же знаешь: цена будет высокою, сказал себе я. Но я уже не мог не писать, слышимое мной должно было теперь непременно утвердиться на бумаге. Я запишу, и тогда оно умолкнет. Спасибо Создавшему меня за то, что Он наделил меня такою способностью, за то, что сделал Он меня совершенным органом своим.

Бога нет. Точно — нет. Но это даже хорошо. Хуже было бы, если бы Он был. То, что несуществующему столько внимания, в общем, не удивительно. Странно было бы, если бы о нем не задумывались вовсе. Если же предположить, что Бог есть, то Ему следует быть одной лишь несправедливостью, носить имя Беззакония и Несправедливости, и на такую форму Его существования возможно лишь согласиться. Справедливое несоединимо с сакральным.

Я перевернул еще два исписанных листа.

Надо не литературу творить, но подвиги, надо не музыку писать, но светопреставления. Я собрал все молнии мира и превратил их в вещество, смертельное, неукротимое. Оно на моих глазах вступало в реакции с благостью, с миролюбием, с терпеливым тоном. Религия сделалась небесным расизмом. Я смертен, до мозга костей смертен, и то, что я до сих пор жив, — даже не чудо, но всего только нелепая случайность, трагическое заблуждение моего несчастного организма, моего упрямого тела. В остаток дней моих я еще немало придумую миру оплеух и зуботычин, от которых он содроганием зайдется, обременится изнеможением и сомнениями духа. Невозможно найти пищу, которая не убивает. Невозможно сыскать воздух, который животворит. Припадая, раскачиваясь. Чугуннолитыми разбрасываясь фразами. Такты с двадцать четвертого по тридцать второй. Вот вдруг все нервы мои разъединились, разрознились, каждый из них сделался сам по себе.

Валторна! Всем молиться на валторну! До чего жестокие и безжалостные животные — инструменты! Безжалостнее даже человек. Хотя, казалось бы, безжалостнее человек нет ничего! А вот же, изволите видеть: находятся! Дайте свободу всякому, горделивому, безнадежному или прозябающему, склонитесь пред его возмущившимся достоинством. Следует над реками вздывать мосты, заносчивые мосты, а не громоздить поперек них запруды. Всяк из нас ищак, а человек множество образует толпу скудную, с духом бесцельным, замшелым, выморочным, с бессмыслием движений, с праздною пустословием.

Появился Худбин. Он тихо прикрыл за собою дверь в гостиную, потоптался, уселся в кресло, которое жалобно заскрипело под ним. Он смотрел, как я работаю. Кажется, зрелище это его умилело, но вскоре он все же не выдержал и завел разговор.

— Патриотизм парадоксален, — будто бы для затравки сообщил он. — Сейчас многие подвизаются служить России нелюбовью.

— Не мешайте, Худбин! — строго сказал я. — Сидите тихо, раз уж пришли!

— Моцарт! — плаксиво всплеснул он руками. — Гений, Неспалов, не оставляет наследников. Разве что на небесах. Впрочем, не так. Гений сам — небесный наследник. Наследство его — по беззаконию.

Я погрозил ему пальцем. И на мгновение скосил на него глаза. Он тут же поспешил превратиться в брошенную мной на кресло куртку с раскинувшимися в стороны рукавами. Но превращение это было не слишком расторопным, и я прекрасно успел разглядеть Худбина. Волосы его теперь были напомажены, одет он был франтовато.

Записанный мною бронзовозвонный, густогрешный, широкогрудый хорал начал как будто бы рассыпаться. В него стали вторгаться новые, зловещие и чужерод-

ные мотивы, еще стали вдруг возникать политональные наложения. Они змеились, трепетали, расшатывали устои. Ласточки, добрые ласточки, оказывались вдруг истребителями, сеющими смерть и неустройство, корни сосен и ив изнуляли почву, сама природа обрела бессилие и зыбкость папиросной бумаги на ветру. Неожиданно Соня положила мне сзади две своих теплых ладошки на плечи. Я задохнулся и закашлялся. Закашлялся и задохнулся.

Весь мир можно вдруг угадать и исчислить в двух-трех морщинах случайно встреченного пешехода, в волосах в его ухе, в заусенцах ногтей нищенки, в нелепой походке криволапого голубя на карнизе, в чернильном росчерке в альбоме, в затертой багажной квитанции, той, что вдруг поддержало ветром близ твоей размашистой подошвы празднующегося. Мир во всем мгновенном и празднующемся. Во всем неуверенном и необъяснимом. В устоявшемся и укоренившемся мира нет, значения нет, бежали оттуда мир и значение, и сам ты бежишь оттуда и бежать всегда будешь, какого бы поприща, какого пути и предназначения ни ждали от тебя. Псу под хвост все ожидаемые поприща и предназначения! Именно туда сложи всякое осмысленное, всякое чаемое свое, как и Отец твой небесный сложил туда все человеческое, все избранное, все небывалое! Аминь! Такты с семидесятого по восемьдесят шестой.

Мимо прошел Григорий. Он не собирался задерживаться. Он как будто даже спешил. Заглянул ко мне через плечо, поморщился, фыркнул, пожал плечами.

— Мы, русские, — нация неуклонно эксцентрическая, — для чего-то сказал он. — Неизлечимо больная. Тебе же, Неспалов, все же еще предстоит на мир наложить клейма особенно безжалостные.

Я стер Григория одним взмахом руки. Здесь будет пауза, долгие-долгие четыре такта. Партия виолончелей. Да, а еще мой отчет, листы моего отчета вдруг взвихрились, воспламенились, воспрянули! Разлетелись птицами с преломленными крыльями, разбрелись грызунами и млекопитающими.

Меж тем птичье все более проникало в меня, мне стало труднее придерживать родной почвы. Гравитация же не спасала, гравитация ничему не способствовала. И вот подо мною, внизу зазяла уже Моховая, которая с моей стороны будто бы разыгрывала из себя пролазу и пройдоху, в дальнем же ее конце словно корчила кислую, плебейскую физиономию. Спутались и свились провода, скакнули кровли, изогнулись особняки, сарацинский пост закатился горошиною в дальний угол, плеснула хвостом Фонтанка, злая рыба Фонтанка, Михайловский замок закрутил непокорный свой ус, натянулась тетива Литейного, растопырило щупальца Марсово поле, выгнул дерзкую спину Невский — пасынок эпох, минувших и нынешней! Весь Петербург, с Невою его и Невками, с дворцами его, домами, бизнес-центрами, пешеходами и кабриолетами, вздыбился, встопорщился, возмутился, восторжествовал! Птичий полет! Как быстро же ты изгнал из меня человеческое! Сколько насадил легковесного, парящего, взметнувшегося, атмосферного!

Восстало вдруг гомерическое, вспышки гомерической горечи. После туман нашел на видимое, зеленый, словно хлорная медь. И не было больше пространств, перспектив, пейзажей, симметрий, а закопошились большие массы, нации грозно ходатайствовали о скудных судьбах своих, народы воспрянули против соседей своих, начались войны, светопреставления, начались затишья, такие, что страшнее любой сечи. История наша полна сокрушительных замираний, всенародных депрессий, необоснованных энтузиазмов, безудержных воспалений. Побочные темы, потоки антиэнергий вторгались в главную, в светлоликую, в триумфально-родную, в которой так много разнузданного огня и сильного солнца, в которой много марганца и сурьмы. Смутное схлестывалось с колокольным, с торжествен-

ным, с надмирным; история вдруг водрузилась над всеми дисциплинами духа. И была великая территория, бескрайняя, неопишуемая; много, слишком уж много частного, одиночного, особенного сплелось в ней, миллионы здесь находили дóмы свои, жилища, норы и логовища, судьбы сих миллионов от первого вздоха и до предсмертного хрипа вершились здесь. И вот я был среди сих миллионов, здесь вершилась неудобоваримая судьба моя, заранее исчисленная и предопределенная всеми алгебрами несчастий, были здесь и Соня (с другом и мучителем ее — волком), и Лиза, и Гольдфарбы, и наслоившиеся на град наш и мир наш сарацины, и были случайные пешеходы, и дома, и автомобили, и хорек на заднем сиденье (ровно девятнадцать нот мне потребовалось на этого непоседливого грызуна), и богемное пальто Григория, и позор мой в автобусе, восстал вдруг и Сотников, и исправившаяся молитва, и распятие в подвале, и Бог, и червь, и штукатурка, и холодные радиаторы, и рюмка рома, и убогие, и бесноватые, и сильные голоса, и куриные крылышки, и все-все человеки, только и возможные на Земле!

Вот же вскоре начала готовиться кульминация, исподволь, будто бы подступающими приливами, будто бы потаенными тектоническими явлениями. Ничто еще не предвещало настоящего ужаса, кроме разве что отдельных рокотов. Но вот рокотов делалось все больше, вот уж весь мир обратился в рокот и в боль; привиделись вдруг и мистические качели. Да ведь и впрямь: умирая, кого станешь больше жалеть — себя или мир? Себя или мир? И так от себя и до мира, до самого последнего мгновения, до самого последнего вздоха. *Allegro agitato.*

Вот же и ужаса становилось все больше, вот же и боль приумножилась. Ужас просачивался изо всех щелей, боль называла себя хозяйкою мира. Небеса разверзались, и оттуда обрушивались и вся медь, и все деревянные, и молнии, и шестиголосие органа, и хор неистовствующий, обрушивались, но тут же и возносились, и снова обрушивались, и меня самого то вздымали, то опрокидывали, так что бился я жалкою щепкой в этом море минора, в этой пламенной вакханалии, в стихии сей оглушительной. Шесть тактов, только шесть тактов тотального стаккато, и вот вы схвачены за шиворот и человеческой мелочью изнемогаете под новою тяжестью медных, и Страшный суд объявлен для вас, но вы не готовы, вы жалки и опустошенны, а зловещая медь фразу за фразой выводит неумолимую тему свою, сзывая ангелов, окликаая надмирное, провозглашая таинственное и необъяснимое!

— Неспалов, у вас кровь, — сказал мне Альфонс сочувственным тоном.

Где кровь? Ах да, идет носом. Я голову запрокинул, но несколько капель все же попали на бумагу. Эта чертова кульминация так измучила меня! Нельзя мне быть для мира обузой, сказал себе я, но и миру не следует позволять быть обузой для меня.

Внезапно погас свет. Свет мне был нужен.

— Худбин, сходите, пожалуйста, за свечами, — сказал я. — Дальше будет еще интереснее.

Он беспрекословно отправился за свечами, принес, поставил на стол, Ольга подала ему спички. Комната озарилась неровным светом свечей. Кто-то тихо сидел в углу, но я не мог разглядеть сего неосвещенного. Возможно, это был Сотников.

Шесть тем, шесть странных, неистовых тем — я придумал их причудливое сплетение. Пачка исписанных листов делалась все толще, оставалось не так уж и много. Разработке нельзя было позволить слишком уж затянуться.

— Кто еще не пришел? — спросил я.

Ольга и Альфонс Янович посмотрели на меня вопросительно, но ничего не ответили. Это было и неважно. Водопроводчики топтались в прихожей, Шутко прятался в ванной. Никак не думал я прежде, что он может быть настолько робок.

— Еще совсем чуть-чуть, — сказал я одной Ольге. — Потерпи.

Я призыву всех под собственное крыло, крыло будет больным и несчастным, но такое крыло способно накрыть собою сырых и беспочвенных, тщетных и неуверенных. Мир и путь всегда пребывают в противоречии. Я же посередине этого противоречия. Я — сердце и смысл этого противоречия. Я — заложник его и застрельщик.

И тут вдруг явилось что-то странное и безобразное. Оно явилось из духа истории, из области мифов, преданий и простонародных причуд. Историческое соединилось здесь с экономическим и даже философским. Беременная гадина. Змея длиною в полмира распласталась по почве к ужасу всех людей, а мы любили эту змею, мы признавали ее своей матерью, свою отчизною, мы находили в ней счастье и постылости, мы презирали ее и питались ее соками. И вот огненный дождь, лава, зловередные вихри, космические снопы обрушились на нее. Мы этого жаждали и трепетали. Призывали, но и отрешивались. Хор цивилизаций-банкротов глумился над гадиной. Не сознавая и своих неминуемых гибелей. И вот вдруг лопнуло великое чрево, распалась гадина, и сотни гадких змеенышей поползли по той же самой неопикуемой почве, по сухой и бесплодной земле. Нет, впрочем, не сотни! Я знал точно: восемьдесят пять. Только — восемьдесят пять! Каждый из них был выписан мною в деталях. Кода. Близость. Исчерпанность.

И снова весь мир низвергнулся звуками. Сбирание отчаяний; вот оно, верное слово — отчаяние! Тоска взяла меня за горло, нелепость вцепилась в ключицы и щиколотки. О чем? О чем эта симфония? О великом, о катастрофическом, о необратимом. Этого ли ожидали от меня? Это ли хотели услышать мои высокопоставленные патроны? А знают ли они сами, чего ждут от меня? Я прежде искал звуки, подобные взрыву гремучей ртути. Я трепетал таких звуков, и я жаждал их. И вот же они наконец, такие звуки! Гремучая ртуть разгадана. Гремучая ртуть воплощена.

Дни мои ныне — враги мои, в них сгрудилось все самое мое ненавистное. Да, они с собою несут минуты и часы невысказанных, разухабистых восторгов, происходящих вместе с исторгающимися из меня новыми звуками, да, они с собою несут и события чрезвычайные: празднества, встречи, триумфы, комплименты, славословия, чествования, но ведь и их самих, дней моих, при этом делается меньше. И я иногда думаю: пусть вовсе не будет ни звуков, ни триумфов, лишь бы дни мои не истощались. Лишь бы не быть мне замороженным подступающим бессилием, надвигающейся дряхлостью и, уж разумеется, неизбежным концом. Мне нужно каким-то образом примириться со своим уходом, со своим исчезновением, мне следует свыкнуться со своей смертью, принять ее, оправдать, исполниться благодарностью. Возможно, это и есть высший вид благодарности — благодарность за смерть.

И вот наконец финальные звуки, аккорды! Вся несправедливость Бога и существования, весь абсурд мира и человека соединились в душераздирающие диссонансы, в неистовые и невозможные созвучия. Ничего на свете нет неустойчивее, чем цепочка этих аккордов. Так невозможно заканчивать симфонию; нельзя человека оставлять со столь неразрешимым вопросом, нельзя его бросать в таких неуверенности и неопределенности. Проклянут меня и осмеют за эти аккорды! Так еще не писал никто, так написал я.

Я закрыл все такты моей партитуры. Я поставил точку. Спасибо жизни, которая так долго терпит это неказистое тело, эти мышцы, эти кости, это сердце и эту кожу. Мне следует взять все слова свои, и все звуки, и все смыслы обратно. Отныне есть один лишь смысл, одна красота, те, что в этой музыке, в этой чертовой музыке. В этих проклятых созвучиях, разноголосицах и внезапностях.

Вспыхнул свет. Свечи горели на столе сиротливо. Предо мною лежала толстая стопка исписанных партитурных листов. Мне теперь не надо пересматривать напи-

санное: там нет ни ошибок, ни помарок, там не надо ничего поправлять. Вот только... титульный лист...

«Мирослав Неспалов», — написал я. Хотел было прибавить пониже слово «симфония», но остановился. И приписал: «Поэма Распада». Что под сим разумел я, не знал и сам.

— Я закончил, — сказал я. — Слышите, Альфонс Янович? Я закончил.

Я огляделся. В комнате не было никого, кроме лежавшей на диване Ольги, ну и меня, разумеется. Свечи я погасил.

82.

— Я очень устал, — сказал я. — Худбин, вы не композитор, вы не знаете: такие симфонии не пишутся в несколько часов. Они пишутся за недели. Что вы со мной сделали? Зачем вы меня в это втравили? А кстати, хотите куриных крылышек?

Но тот не ответил. Он снова притворился курткой с раскинутыми в разные стороны рукавами. Тогда я сходил за крылышками, принес несколько штук на тарелке. Стал есть их прямо холодными.

— Разогрел бы, — сказала мне мертвая Ольга.

— Вкусно, — сказал я с набитым ртом.

На сей раз она промолчала.

— Ольга, ты знаешь, во что он меня втравил? — сказал я. — Ты думаешь, здесь плата — его деньги?

— Не делай этого, — тихо попросила Ольга, кажется, обо всем догадавшись.

— Я не могу, — развел я руками.

— Ты сможешь выдержать? — спросила Ольга.

— Сейчас проверим.

Я замолчал, усердно обглаживая крылышки, выпил еще рюмку рома. Он мне должен был еще пригодиться. Потом я отнес посуду, тщательно вымыл руки, прополоскал рот, вернулся в гостиную.

— Я не могу на это смотреть, — сказала мне Ольга.

— А я могу, — отозвался Худбин. — Чего вообще только не увидишь.

Я не стал разговаривать с ним, я говорил с одной Ольгой.

— Это главная моя вещь, — сказал я. — После нее я не нужен, я не обязателен. После нее меня может и не быть. Но она мне не дана в дар, я купил ее. И теперь должен заплатить настоящую цену. Худбин неумен, он полагает, его бумажки чего-то стоят. А его бумажки ничего не стоят.

— Все равно, — шепнула Ольга.

— Я сейчас, — сказал я.

Я принес все необходимое, я сложил его на столе. Ром, пачка анальгина, льняное масло, блюдо, десертная ложечка, маникюрные ножницы с загнутыми концами, салфетка, стакан воды, пустой стакан, зеркало. Партитуру я отложил подальше, у нее и так уже две страницы заляпаны кровью.

— Неспалов, — сказала Ольга.

— Он не решится, ни за что не решится, — усмехнулся Худбин. — Симфония стоит обещанных денег. И он может их получить.

С ним я по-прежнему не хотел говорить.

— Аванс свой он, конечно, профукал, — развел руками Альфонс Янович. — Но это уже вопрос не ко мне.

Это почти те же самые завернутые веки, немного труднее, немного больнее, нужно лишь проделать это методично и аккуратно, сказал себе я. Сначала я про-

глотил анальгин, шесть таблеток, тщательно разжевывая и запивая водой. Вкус омерзительный; у меня онемел рот на последней таблетке и половина лица. Пауза шесть тактов. Потом — ром и стакан. Я выпил рома два с половиной стакана. Капнул масло на ложечку и размазал его пальцем. Может, во мне есть что-то от немца? Иначе откуда во мне столько методичности?

После рома и анальгина я почти не чувствовал себя. Спасибо тебе, мой безвестный поклонник!

Ольга коротко простонала и отвернулась.

— Ты тоже любишь власть, Неспалов, — удивленно сказал Григорий. — Только над собой.

Я отмахнулся от этого нелепого человека.

Ложечка звякнула, когда я брал ее с блюдца. Пальцами левой руки я оттягивал веки правого глаза. Зрачок же я старательно скосил к переносью. Я стал заводить ложечку под оттянутые веки, потом за глазное яблоко, одновременно с силой надавливая на него пальцем. Первые несколько миллиметров ложечка продвигалась довольно свободно. Потом стало больно, но я уже не останавливался.

Ольга как-то так захрипела, как будто эту операцию проделывали над ней, Григорий хрюкнул, вполне по-мальчишески, его это, кажется, забавляло. Худбин поцокал языком. Я покачивал ложечкой и все более надавливал на нее. Масло помогало ей проталкиваться все более за глазное яблоко. Мне все что-то мешало, но я был уже почти у цели.

— Так? — спросил я у Григория.

— У тебя мания беспорядочного, — отвечивал он.

— Депрессия на знамени многих нынешних поколений, — отвернувшись, подтвердил и Худбин.

Ольга тихо постанывала.

— Довольно трудная задача, — сказал я.

Тут настал черед маникюрных ножничек. Я стал аккуратно заводить изогнутые их концы за донышко ложечки. Где ж там этот чертов жгутик?! У меня не получалось, ничего не получалось, впору было попросить кого-то о помощи! Но кто ж мог помочь мне? Я мучился несколько минут, зато глаз был еще цел; я вовсе не собирался его повреждать. Капала кровь, и вот наконец я изловчился и... перекусил. Я сразу понял это, хотя мне показалось, что глаз еще видит. Нажатием ложечки я вытащил его, тот упал на блюдечко, огромный и окровавленный, я быстро склонился над блюдечком, чтобы падать было не так высоко. Тут голова у меня закружилась, я схватился за стол, чтобы не потерять сознание. Наконец выправился, приложил салфетку к глазнице моей, пустой и обиженной.

— Получилось, — хрипло сказал я.

Я обмыл глаз водой, снова положил на блюдечко.

— Это и есть минимальная цена. Теперь заплачено, — сказал я.

— Ну, Неспалов, — сокрушенно развел руками Альфонс Янович.

— Можете забирать вашу партитуру, — сказал я.

83.

На улице была ночь. Самое главное, самое грандиозное, самое болезненное и нестерпимое, что я мог сделать в жизни, я уже сделал. Ольга выглядела застылою и заострившеюся. Я бережно накрыл ее пледом. Моя партитура могла бы стать причиной каких-то неведомых новых воплощений, подумал я. Но, вероятно, для того симфония должна быть исполненной.

Я подошел к окну, разбитому Сотниковым, сдернул с него покрывало; снова был холод, нечеловеческим холодом тянуло от этого окна. Я прижался к окну, взял за подоконник, чтобы не вывалиться, не выпрыгнуть теперь в морозное ночное пространство, набрал полную грудь воздуха...

— Я написал! — крикнул я. — Водопроводчики! Вы где-то там прячетесь, я знаю! Потому что вы — хитрецы! Саша! — крикнул я. — Аскольд! Это ничего, что вы хитрецы! Я и сам хитрец! Я написал эту чертову симфонию, и я заплатил за нее, поэтому она теперь моя... и она — ваша! Я заплатил глазом, это — небольшая цена. А вы можете ничего не платить. Просто скажите этому человеку... ну, вы его знаете, он искал меня деньгами... скажите ему, что я написал! Скажите ему только одно слово: «Симфония!» — и он, если надо, восстанет даже из мертвых. Не верите? — кричал я. — Попробуйте! Убедитесь! А следователя я не убивал. И никого не убивал. Я раньше сомневался. Меня специально подталкивали, чтобы я сомневался. А теперь я узнал точно.

На улице кто-то остановился под моими окнами. Я не видел, кто именно.

— Вы там остановились, — кричал я. — Я не вижу, кто там остановился. У меня тот глаз, что остался, плохо видит. Вы тоже просто скажите: «Неспалов написал симфонию» — и все! И если вас остановят или даже будут убивать, скажите: «Неспалов написал симфонию» — этого достаточно. Инспектор... Он, должно быть, спит. Инспектора спят по ночам. Вы и ему скажите про симфонию. Он — хороший человек, он оценит, он удивится. Теперь я понимаю, это нужно было сделать. Но я просто боялся. Я боялся за себя. И вот я немного опоздал. А симфония эта особенная... — сказал я.

Я не знаю, как они зашли. Я еще стоял у окна, я еще корчился подле бездны, но в комнате был уже Чанский, с его причудливой нижней губой. Я увидел его губу и сделал какой-то комплимент. Не губе его, разумеется, но — отзывчивости. Мне понравилось, что он появился у меня ночью и без промедления. Появился и Шутко. Голоса водопроводчиков я слышал в прихожей, в гостиную они не заходили. Потом мне сделали укол. Осматривали тело Ольги, я все встревал с объяснениями. Но меня не слушали. Удивлялись моему глазу, рассматривали его с опаской и с уважением. Я указывал на партитуру. Партитура здесь была всего важнее. Ну, конечно, не глаз же!

Худбин! Меня занимало, что сделалось с ним, но мне этого никто не говорил. Лишь успокаивали, как могли. Я что-то еще говорил, что-то хотел высказать. Такая долгая жизнь — ради каких-то жалких секунд счастья, ради коротких вспышек величия, ради мгновений тоски! Справедливо ли это? Гуманно ли, разумно ли? Не уверен. Глаз. Меня победил мой глаз. Он сломал меня. Глаз мой злой и заброшенный. Меня оставили одного в кресле, говоря о чем-то своем, и вот вдруг все перемешалось: и глаз, и кресло, и нота «си», такая близкая, такая многообещающая и обманчивая, и Моховая, и бутылка из-под рома, закатившаяся под стол, и холод, и казенные голоса, и сирена «скорой помощи» под окнами, и лицо Альфонса, которое я то ли видел, то ли оно мне пригрезилось, и нищенка, зашедшая на огонек полюбопытствовать о случившемся, но которую отчего-то не прогоняли, и качнувшееся кадило, и тело Ольги, и руки врача, щупавшего мой пульс, и сморщившиеся мои веки, я тогда сказал что-то, но, против обыкновения, не услышал своего голоса, я лишь вздохнул судорожно, вздохнул трепетно, и больше не было ничего.

84.

Третью неделю меня держат в Большом драматическом. Здесь госпиталь, много военных; спектакли еще играют изредка, не чаще двух раз в месяц, тогда сцену и зал

временно освобождают от коек, но после возвращают на место. На спектакли я не хожу. Кто-то меня узнает, и тогда донимают меня разговорами. Меня здесь не любят, полагая надменным. Это так: я дик и надменен.

Человеки-черновики. Горе сочинителям! В этой жизни высшая доблесть — уклончивость. Да.

Я теперь не хочу писать музыку, я вовсе не хочу ее писать. И не буду!

Двое-трое солдатиков восторженно пытаются пересказывать увиденные спектакли. Я затыкаю уши.

Что же такое ум мой? — иногда думаю я. Фонд искаженных цитат и неудобоваримых мотивов.

Кажется, цена конструктивности в мире — изнеможение. И только мое изнеможение исключительно бескорыстного свойства. О чем это я? Трудно припомнить.

«Точно ли язык дан тебе для недосягаемого? — еще иногда говорю себе я. — Точно ли смысл дан тебе для содрогания?»

Друг мой — смерть — уже приходила ко мне, была раздосадована моими горестями и дала мне отсрочку на срок весьма малый, на срок сокровенный. Так что теперь извини, мир! Нынче мне не до тебя!

Мне приносили на примерку стеклянный глаз. Я попробовал его. Он теперь лежит у меня в тумбочке. Пожалуй, он даже хорош. Слишком хорош. Едва ли не идеален. Сердце мое все время трепещет, будто флаг на ветру.

Бедствие, только лишь бедствие — самоощущение мое в рамках отпущенной мне, свершающейся и дотлевающей жизни.

Немало мне известно бранных слов, но слово «реализм» из них наиболее омерзительное.

Шутко и Чанский приходили ко мне. Принесли с собой водянистые китайские груши в пакете, задавали вопросы, в том числе и о следователе, и о Гольдфарбах, но ни в чем не обвиняли меня. Что-то стало уже забываться. Хотя я помнил веревку и я помнил шило. Груши я раздал соседям по палате. Резали те их ножом. Липким соком груш обливаясь. Еще здесь есть радио, они все время слушают новости. Ни дня без новостей, и те сначала были тревожные, потом еще тревожнее, но в один прекрасный момент как будто заглохли, словно бы их решили скрывать.

Вообще-то я готов безропотно переносить грязь, ужас, насилие, неустройство, лишь бы была торжественность. Торжественность и простота. Но торжественности нет. Простота же нам дана в обращение, простота такого свойства, что лучше бы ее не было вовсе!

Трудно вообразить себе подлость безобразнее загробной жизни.

Была еще Лиза, она почти не переменилась. Не смог даже прогнать ее, то есть — не сумел. Сони нет. Совсем нет. И не будет. Стиснутые зубы. Волк. Надо молчать!

Цветущее становится немощным, отточенное — расхристанным и приблизительно, осанистое — согбенным, энергичное — дряхлым, и все в пределах одной твоей микроскопической жизни. Ведь верно, что жизнь твоя микроскопическая? Или ты полагаешь ее необозримой? Или ты мнишь ее величественной?

Снова — радио.

Подлинны искусства производят и мгновенные сумасшествия. Мое же (единственное) временами кажется мне затянувшимся.

Многие ожидали чего-то совсем уж катастрофического. Я знал, что симфония существует, поэтому следует делать поправку на самый факт ее существования. Надо только понять, в чьих она теперь руках. Ни Чанский, ни Шутко ответить мне не могли. Они теперь не то чтобы умалились, но как-то так обрели свои действительные размеры. И размеры эти невелики. Следователь и инспектор.

День вчерашний не стоит того, чтобы им жить. Завтрашний — тем более. Технология мимолетности. Бог — *чунгам* человек, закосневших в бескрылости. Он всегда там, где скудость и прободение духа.

Если бы все же дана мне была долгая жизнь, то дана была бы, возможно, для какой-то парадоксальной новой праведности. Ныне праведности уместны только парадоксальные, необъяснимые, небывалые. Иные праведности и не нужны, не примет душа их. Душа, душа со всеми ее колченогими стропилами и лживыми арматурами.

Я тоже трудился когда-то, не покладая рук.

85.

Молодой капитан с простреленною ногой, находившийся здесь на излечении... ему принесли из дома аккордеон, утром в субботу, а хотелось веселья и ему, и столь же беспечным товарищам его, и вот прямо с утра были залихватские вальсы и еще много народных мелодий. Двое загипсованных бойцов затеяли танцы с медсестрами, с кареглазой татарочкой и шатенкой белокожею с именем — Люба. Новые лица, суббота, солнце на улице, снег сверкающий, снег слежавшийся; потом, будто бы откашлявшись, заговорило радио, и тут все замолкли и прильнули к приемникам. Стало быть, произошло что-то особенное, чего, возможно, ожидали или чего, быть может, страшились...

— Тысячелетняя история... — сбивчиво говорил диктор. — Наше измученное отечество... давным-давно изжившее себя федеративное устройство... Разгул криминала... Утраченное управление... Сползание к катастрофе... Новая страница, новая веха... — звук плывет и будто бы гложет, кто-то плачет, жадно ловят каждое слово. Треск, шипение. Потом другой диктор приходит на выручку. Этот побойчее, этот поухватистее, этот врет звонче. — В обстановке консенсуса... единственный выход... Восемьдесят пять субъектов... восемьдесят пять суверенных государств... мы прощаемся сегодня с Россией, со словом, с понятием, со страной, с самими собою, с самим духом...

— Что же это? Как же так? — шептал кто-то.

— Да, правильно! Давно пора! — гудит кто-то в ответ.

— Была тюрьма народов, тюрьма народов и есть!

— Можно подумать, что-то переменится!

— Переменится не переменится, а порядка будет поболее.

Будто бы воробьи — все эти слушатели радио. Заклинатели воробьев — эти дикторы...

— Но Россия жива, и дух ее в каждом из восьмидесяти пяти новых государств... Русский дух, русский смысл, наша идея...

Потом что-то слышится с площади, будто военный парад, реактивные самолеты, их рев не перепутать ни с чем.

— Мы выстрадали обыкновенное человеческое счастье, мы выстрадали наш покой, — снова собирается с силами первый.

— Право субъектов на самоопределение...

— Было одно отечество, а теперь его станет в восемьдесят пять раз больше...

— А теперь наше прямое включение... заседание правительства Вологодской республики...

Лицом к стене я лежу, но после поднимаюсь. И мне это нелегко. Я не знаю еще, куда они клонят. Но куда-то клонят несомненно. Отчего-то — волнение!

Придите, взгляните на прежнее мое фиаско, великое мое фиаско, что я носил по граду и по миру в заплочном мешке своем, как единственное достояние единственного бытия своего. А ваши фиаско высоки ли? Значительны ли? Любите ли вы свои фиаско? Или, быть может, вы даже не способны осознать их? Не способны восхищаться ими? Не можете предложить тем достойные пьедесталы, грандиозные обрамления? Быть может, вы, любя жалкие успехи свои, пренебрегаете великими своими фиаско?! Так, так и только так, о подлейшие из человек, о препустейшие из двуногих и прямоходящих! Меж тем, недооценивая наши фиаско, мы недооцениваем и саму жизнь. Истинно вам говорю.

Вовремя я поднялся. Треск понемногу стихает. Слышу свое имя, кто-то отчетливо произнес мое имя... ах да, в этом чертовом радио. После — пауза, и вдруг... аккорды вступления. Те самые — торжественные, неумолчные, бронзовозвонные! Застываю. Губы немеют. На меня оборачиваются, на меня смотрят. Боже! Так вот какое употребление предназначено моим проклятым звукам, моему вдохновенному полководью, моей магме, моему неистовству! Боже, отчего так столкнули вы меня с отечеством моим, отчего поставили меня пред ним виновником, отчего позволили мне, с жалким, полузрячим духом моим, вторгнуться во дни, в судьбы и всякие смыслы его?! Имя мое теперь с бесчестьем смешается, станет символом и синонимом того, и мне не сказали этого, позволили петь, сочинять и витийствовать, играя на бедном самолюбии моем. Как мне теперь восстать против того, когда всякое восстание мое лишь, я знаю, еще больше запутывает меня? Оркестр, впрочем, звучал хорошо.

Истина? Вы говорите: истина? В этом слове, мне кажется, есть все же что-то хамоватое и бесцеремонное.

Капитан, на костыль опираясь, подошел ко мне. Он был бледен, и губа дрожала его. Показалось, что хочет ударить.

— Это сделали вы? — сказал он. В лицо мое глядя и еще в глаз пустой глядя.

Что мне еще оставалось? Я виновен пред миром своею нерассудительностью, я всю жизнь писал одни звуки, одни ноты, и вот теперь мне вдруг возмнилось, что на мгновение удалось воспроизвести смысл и красоту, боль и великолепие, самые главные, которые, может, вообще возможны в музыке, а им тотчас же найдено применение самое сомнительное и ужасное, самое корыстное и катастрофическое, я видел, что десятки пар глаз уставились на меня в ожидании, в напряженном и пресловутом ожидании, я знал, что не оригинален, я знал, что повторяюсь, и даже гордился тем, что не оригинален и что повторяюсь, и потому сказал:

— Это сделали вы!